

СОЛДАТ И ЦАРЬ

ЕЛЕНА КРЮКОВА



ТОМ ПЕРВЫЙ

Елена Крюкова

Солдат и Царь. том первый

«Издательские решения»

Крюкова Е. Н.

Солдат и Царь. том первый / Е. Н. Крюкова — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-747004-3

Трагедия Первой мировой войны. Трагедия русской революции 1917 года. Трагедия расстрела последней русской царской семьи. Эти три трагедии будут приковывать к себе внимание. Книга Елены Крюковой — о красноармейцах, стороживших семью Романовых в Тобольске и в Екатеринбурге. Молодой боец Красной Армии Михаил Лямин — и царь Николай Второй. Царское семейство, уже обреченное — и народ, что несет у его комнат последний караул.

ISBN 978-5-44-747004-3

© Крюкова Е. Н.
© Издательские решения

Содержание

Прелюдия. Все равно	6
Книга первая	11
Глава первая	11
Глава вторая	51
Конец ознакомительного фрагмента.	69

Солдат и Царь
том первый
Елена Крюкова

© Елена Крюкова, 2016

© Владимир Фуфачев, дизайн обложки, 2016

Редактор Галина Шарова

Корректор Майя Федотова

ISBN 978-5-4474-7004-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Прелюдия. Все равно

Чем больше я живу, тем яснее вижу: земля пульсирует кровью, как человеческое тело.

Если она долго живет без войны или революции – она сама себе делает кровопускание, будто эта грубо, щедро льющаяся кровь может ее очистить от грязи. Выливаясь из ее черного разрубленного тела, омыть все, что гниет и смердит.

Но это иллюзия. Так мы говорим, чтобы себя утешить.

В смерти нет ничего высокого. Она ждет всех, и меня тоже. Говорят: революция прекрасна, она вдыхает в народ новые силы! И он бежит к яркому свету будущего!

...На свет полыхающего страшного зари бежит он, народ.

...Моя бабушка, Наталья Павловна Еремина, была пятой дочерью моих прабабки и прадеда, а всего детей родилось одиннадцать. Я ловила, как котенок, клубок из ее корзины, у ее толстых мощных ног, когда она вязала. Или шила – на старой ножной швейной машинке. Нога бабушки ритмично двигалась, ткань ползла из-под руки.

...Сейчас думаю: это ползло, падало на пол – время.

Баба Наташа держала в зубах нитки, иголки. Когда вязала – и спицы, как собака палку. Я смеялась. Она вынимала спицу изо рта, беззубо и морщинисто улыбалась мне и говорила. Рассказ будто не прерывался. Я вздыхала и слушала. Вертела в пальцах перламутровую пуговицу от старого бабушкиного сарафана.

Бабушка рассказывала о прадеде Павле, а потом еще об одном человеке, его друге. Звучало это примерно так, не берусь воссоздать все точнехонько:

– Твой прадедуська Павел нам этот дом построил. Верней, перестроил, из ветхого старья. Плотник был отменный. Топор танцевал в его руках. А уж настрадался он в жизни! Где только ни мучили его. В особом лагере на Новой Земле – отсидел пятнадцать лет. До этого – Соловки. До Соловков – Уссурийск. До Уссурийска – поселение, Минусинская котловина. Там у него и женщина была! Мать знала, сильно плакала. А до Минусинска...

Баба Наташа опять зажимала в губах спицу. Металл тонко блестел, я торопила рассказ: а дальше?

– До Минусинска... был Омск... а до Омска – Екатеринбург, теперь Свердловск... там он горячего хлебнул... а до Свердловска – Тобольск... А в Тобольск отец прямо с войны попал, из окопов... А на войну – из Нового нашего Буяна взяли...

Я отматывала, вместе с бабушкой, клубок времени назад. Разматывала время.

...Только сейчас размотала – а ветер уже разметал клочья шерсти, порванные нити.

И вот наступило странное и важное время – связать все эти гнилые, ислевшие, летающие по серому ветру нити. Нечто важное, верное рассказать. Для кого важное? Для меня самой? Или для тех, кто будет это читать и думать над этим?

Время – ветер, оно выдувает непрошенные мысли. Люди привыкают не думать в тишине, а только работать, делать. Им кажется – важные дела. Или отдыхать, наслаждаться.

Почему «хлебнул горячего» в Свердловске? Почему у этого города два имени? Горячее – это страшное, я догадалась тогда.

Много позже я узнала, уже со слов моей матери: прадед Павел Ефимыч, красноармеец, служил в отряде, который сторожил последнюю царскую семью в Ипатьевском доме в Екатеринбурге.

Уже нет того дома: сломал товарищ Ельцин. Или господин Ельцин, как угодно. Наш первый президент. Я с замиранием сердца спрашивала маму: а правда, прадедуська Павел рас-

стрелял царя? Мать прижимала палец к губам. Так же, как бабушка, она всегда шила – на ручной швейной машинке «Подольская», черной, чугунной, с золотой вязью по гладким женским бокам. И все так же ползла из-под руки, со стола на пол, разнообразная ткань.

Палец, прижатый к губам, говорил без слов: говорить нельзя. Запрещено.

Мама, глазной врач, рано надела очки. Сапожник без сапог. Толстые стекла непомерно увеличивали глаза. Мы, девчонки, таких лупоглазых цариц рисовали чернилами на школьных промокашках. Она стала портнихой по наследству, домашней, только для семьи. Шить она умела все – от пальто и шубы до детской распашонки. Все семейство обшивала. Ночами.

Однажды ночью я услышала, как она плачет. Осторожно ступая босыми ногами, вышла в большую комнату – мама называла ее «зала». Большими красивыми руками мать вцепилась в чугунную плаху «Подольской», лоб лежал на руках, она всхлипывала. Толстые очки валялись на полу. Я подошла и погладила ее по плечу. Подняла очки.

«Мама, что ты плачешь?» – спросила я тогда робко. Я не умела утешать, стеснялась. Меня ласкали и любили, а я не умела ласкать. Боялась. Мать утерла лицо ладонями. Потом погладила мне шершавой, будто наждачной ладонью заspanное лицо.

«Деда вспомнила. Как он нас всех, сестер, любил. Меня звал Нинусик. Томочку – Тамочка. Валю – Валеночек. А ты знаешь, доченька, ведь он царскую семью расстрелял. И на всю жизнь это запомнил. А все равно его по лагерям затаскали. Не помиловали. Хотя видишь, ради советской власти он невинных людей убил».

Как это невинных, думала я смятенно, ведь проклятые цари мучили народ, стреляли в него, издевались над ним! Надо было обязательно их убить!

Нас так учили в школе. Я не знала другой правды, да и не было ее.

Я стояла, слушала мать, водила пальцем по золотым вензелям на черном чугунном боку швейной машинки. Машинка напоминала мне черную тяжелую корову. А на корову кто-то накинул попону с золотыми, царскими узорами.

«А когда его увозили на подводе из Буяна на поселение – он так всех нас обнимал! И плакал, и кричал: я еще вернусь, вернусь!»

Мать крепко вытерла лицо падающей на пол материей. Потом она начала, среди ночи, шепотом рассказывать мне про молодого прадеда Павла. «Остались снимки... там он такой красивый... и деток красивых нарожал от Насти, да и она была хороша, полька... А про царей он нам рассказывал, сажал нас на колени и губы мне к уху прижимал, – губами щекотал... Говорил: цари были такие тихие. Смирные... Дочери – хорошенькие. Особенно ему нравилась Мария... Он все их имена помнил, а мы – путали... А потом обнимал нас и плакал. Мы его спрашиваем: ты что, деда, плачешь? Тогда он смеялся через силу и кивал: правильно, солдаты не плачут!»

Солдаты. Так я и представляла прадеда Павла – то плотника с топором в руках, то солдата – с винтовкой за спиной.

Он стоит, винтовка за плечом, закуривает махорку, а его окружают солдаты, друзья, толпятся.

...Потом все эти солдаты стали приходить ко мне во сне.

Именно солдаты, а не цари, хотя правильной было бы, если бы девочке, по девчачьему чину, снилась царская семья, гордая царица и царевны в кружевных платьицах. И бородастый важный царь.

Я потом увидела в книгах фотографии царя – в военной форме; он тоже был солдат. Для меня тогда не было разницы между офицером и солдатом. Все они в гимнастерках, и у всех суровые военные лица. Брови хмурятся. Только одни солдаты делают революцию, а другие на них нападают, чтобы красную, прекрасную революцию убить.

А потом те и другие объединяются и однажды защищают нашу Родину от страшного чужого врага.

Когда Гитлер напал на Советский Союз, прадед Павел отбывал срок в особом тайном лагере на Новой Земле. Сейчас есть мнение, что никаких таких лагерей на Новой Земле не было, ни на острове Вайгач, ни на острове Колгуев. И что все это сочинения досужих репрессированных, желающих, чтобы как можно больше было в прошлом секретного дикого страдания. Однако мой прадед Павел там, в новоземельском лагере, доподлинно сидел.

Всю войну с фашистом они просидели там, на мертвом Севере, где белые льды и красные жуткие закаты. Где медленно колыхается, варится серое ледяное олово моря. Они шили для Советской Армии тулупы и валяли валенки. Валеночки...

И убили Павла Ефимыча, прадеда моего, при попытке побега. Бежал вместе с другом. Сухарей тайком насушили, хранили под старой лодкой. Этому самому другу бежать удалось, а Павла подстрелили. Часовой, с вышки, стрелял метко. Друг снял у Павла с груди темный, позеленелый крест. На себя надел. С двумя крестами шел. Добрался до Волги, до Костромы. На барже плыл, милости ради. Донес до Самары. Отдал дочке, Наталье Павловне.

Я смутно вспоминала бормотанье бабушки: «Сидел на кухне... столы газетами покрыли... как раз пост, пирожки с картошкой матушка испекла... Крест у меня на ладони лежал, я его слезами обливала... А этот человек, царствие ему небесное, до нас добрался, как хорошо, последнюю весточку принес...»

И хорошо, ясно помнила я – на шее у бабы Наташи, на груди, чуть ниже яремной ямки, тяжелый медный крест, слишком тяжелый и большой, неженский. Такие нательные кресты носили служилые и торговые люди, солдаты, крестьяне. Мужики. Я залезала к бабушке на колени и трогала этот крест пальцем. Он не охлаждал палец, а странно обжигал.

Сейчас думаю: вот он носил крест, Павел Ефимыч. В Бога – верил. Тогда все верили. Нельзя было иначе. И все же поднял руку на царей. На своих царей.

...нет, не поднял... не стрелял...

...сейчас уж не встанет из могилы и не расскажет, как оно все было.

...Да тогда они уже не своими были, цари-то. Они уже были чужаками в поменявшей одежду стране.

Новое платье России сшили, красное.

Стрекотала швейная машинка.

Текла красная ткань из-под грубых родных рук.

Кровь родная, люди родные, – а цари чужие.

Немцы. Немчура. Чужие. Немые. Иные.

Представляла, как прадед Павел стоит, солдат, с ружьем наперевес, и ружейный ствол – на царя наставляет. Может, это он и убил последнего царя?

Честь убить царя пытались присвоить многие. Цареубийца, это же навсегда в истории! Называют разные фамилии. Разные люди пишут на эту тему мемуары. Так до сих пор никто и не знает, кто это сделал.

Когда начинается революция или война, нет правых и виноватых. У каждого своя правда, и он борется за нее.

Бабушка рассказывала не только о человеке, донесшем до семьи Павла Еремина его нательный крест; а еще об одном друге. С ним Павел Ефимыч вместе служил в красном отряде в Екатеринбурге.

Этот друг был не только прадеда друг. Но и бабы Наташи друг, так я понимала.

Потому что она так ласково и в то же время сердито называла его, будто обзывала: «Мишка Лямин». Скажет: «А, Мишка Лямин...» – и рукой махнет, будто муху отгоняет.

То ли презрительно, а то ли озорно.

Будто самого этого загадочного Мишку – смеясь, по руке бьет.

Значит, знала она его, этого Мишку.

В ящике старинного письменного стола красного дерева у бабушки, среди разных фотографий, лежала и такая: два солдата стоят перед камерой, глядят в объектив осовело. Слишком долго, видно, держал двух мужчин нерасторопный фотограф перед волшебной коробкой: никак не мог зажечь магний. Я рылась в ящике, когда бабушка уходила в молочный магазин – за кефиром, молоком и творогом, – доставала из ящика пожелтый снимок. Кто слева, кто справа? Прадеда Павла я уже узнавала: он и правда был красив. Степной и дикой красотой. Брови вразлет, фуражка надвинута на лоб, узкие калмыцкие глаза. Рядом пялился в камеру другой солдат. Ростом выше Павла Ефимыча. Длинный и нескладный. Шинель мала, чуть выше колен. Не шинель, а казачий тулуп. На башке будёновка. Глаза таращит. В отодвинутой вбок руке сжимает винтовку, крепко упирая ее прикладом в дощатый пол.

Я глядела на снимок и со сладким страхом думала: а может, это он убил?

«Мишка Лямин, – тихо говорила бабушка, разложив на столе кефир и творог, и белые, будто мраморные, яйца, и мясной горячий пирог в промасленной бумаге, глядя из-под очков на желтый, коричневый, как в печке запеченный, снимок в моих руках, – Мишка, рыжий, бесстыжий, он наш, буянский, он же ко мне сватался. А я ему отказала. Ох и рыжий! Аж красный был! Вот какой рыжий! Идет по Буяну – как фонарь горит! Издалека видно! И после гражданской войны тоже приезжал в Буян. Тоже свататься хотел. Мне сказали. Да я уже вышла за деда твоего, Степана. А Мишка – до нашей избы так и не дошел. Застеснялся. Ну что ж... Судьба такая».

А что с ним потом стало, с этим Мишкой, спрашивала я.

«До генерала дослужился», – с тяжелым длинным, как жизнь, вздохом отвечала бабушка.

...Детей интересует смерть. Может, потому, что они о ней ничего не знают, зато верно и жгуче ее чувствуют. Им не надо говорить, что все мы умрем. Им на эту тему снятся сны. Иногда снится, как их убивают; во сне они бегут, убегают, а за ними топот ног, их настигают и стреляют в них. И дети вскидывают руки и падают животом на забор. Или на кирпичную стену. Или на колючую проволоку. Или просто на землю.

У меня такой сон был. Он приходил ко мне несколько раз. Адская боль, когда в тело входит пуля. Я ощущала, как из меня льется горячее, льется кровь. Руки хватались за забор – я пыталась, уже умирая, через него перелезть. Перелезть из смерти в жизнь. Я делала над собой страшное усилие и просыпалась. Кровь, громяхая, толкалась в уши, разрывая барабанные перепонки. Меня убили, думала я дико и быстро, но вот же я проснулась, и все это понарошку.

Кровь толкалась в сердце, в губы, в глаза. Я неистово радовалась, что я жива. Я живу, и это такое счастье! Неужели я когда-то умру? Или меня убьют, как во сне?

Или – убьют не во сне?

Я запомнила, как зовут того солдата, с желтого снимка. Быть может, это он меня во сне убивал. А может, кто другой. Это уже неважно.

Когда бабушка Наталья умерла, все ее вещи достались дочерям Валентине и Тамаре. Нина, моя мать, не получила из ереминского дома ничего, ни вещицы, ни иконки, ни фотографии, ни вышитой бабушкиными руками подушки. Хотя очень просила: «Отдайте мне корзинку с последним вязаньем и спицами».

...Бабушка сидит. Вяжет. Во рту держит две спицы с янтарными шишечками-наконечниками. На столе наперсток, серебряный, с такой же янтарной головкой в дырках. Ножная финская машинка укрыта холстиной. «Ты знаешь, Леночка, они, отец и Мишка, очень дружили. Переписывались. Отец вернулся с Урала в Новый Буян – ему то и дело от Мишки почту при-

носили. А отец не умел особо писать, хотя грамотный был. Однако Мишке – отвечал. Карандашом царапал. В Буяне Павел Ефимыч стал церковным старостой. Маслобойку завел... мельничошку... А потом письма перестали приходиться. Нас раскулачили... мельничошку отняли, маслобойку покалечили... сломали... Все сломали, все».

...Все сломали, все. Но мы же наш, мы же новый мир построили!

Построили – а потом опять разрушили.

А потом опять построили.

А потом...

И так всегда.

Значит, нет выхода из круга?

Я жила и не думала об этом друге. О солдате этом. Рыжем и бесстыжем. А в последние годы вдруг стала думать и думать о нем. И видеть его. Почему-то его, а не прадеда Павла, – ярче, четче.

Что такое смерть? Это когда забывают до конца. Напрочь. А жизнь, наверное, это то, когда тебя видят и помнят.

У нас сейчас многие молодые хотят революции. Мы озираемся по сторонам, смотрим на те земли, где революции эти произошли, и хорошо видим: да, опять кровь, разруха и смерть. Ничего, кроме смерти. Но смерть проходит, и приходит жизнь. Только она уже совсем другая.

И из смерти, из войны или революции, надо выкарабкиваться страшно долго.

Страшно и долго.

Сколько усилий для того, чтобы построить новое!

А что такое новое? Может быть, это опять время?

А оно старым или новым не бывает. Оно всегда одно.

Его шьют и режут. Прострачивают очередями. Сшивают петлями виселиц. Ставят на нем огненные заплатки. А оно такое текучее, скользкое. Льется и ускользает.

Недавно мне приснилось, что в меня опять стреляют. Но я не убегаю. Я стою ровно и тихо. И смотрю убийце прямо в лицо.

Я хорошо знаю его.

Помню по желтой фотографии.

Вот здесь у него морщинка под глазом. Вот здесь, возле уха, родинка.

Он мне как брат. Родной.

...И он не опускает винтовку. Он стреляет все равно.

Книга первая

Глава первая

*«Да, бесконечно много значит **видеть**. Не видевший, не переживший войны никогда в ней ничего не поймет, это значит – не откажется от понимания, объяснения и оправдания ее.*

Поужинав, мы прошли в оперативную штаба. Там сидело несколько офицеров: каждый за своим столом при своей лампе и в ворохе своих бумаг. За спиной у каждого карты, с синими и красными изображениями линий наших и немецких окопов. Во всем бросающаяся в глаза вытравленность всякой реальности – все: схема, цифра, сводка, исходящая, входящая, телефонограмма, радиограмма... но совсем не ночь, дождь, глина, мокрые ноги и горячий затылок, лихорадочная, бредовая тоска о прошедшем и сладкая мечта о грядущем, проклятие безответного повиновения и проклятие безответственного приказа, развратная ругань, «мордобитие» перед атакой, отчаянный страх смерти, боль, крики, ненависть, одинокое умирание, помешательство, самоубийство, исступленье неразрешимых вопрошаний, почему, зачем, во имя чего? А кругом гул снарядов, адские озарения красным огнем... О Господи, разве кому-нибудь передать это.

Помнишь наши споры? Я всегда утверждал, что понимание есть по существу отождествление. Война есть безумие, смерть и разрушение, потому она может быть действительно понятна лишь окончательно разрушенным душевно или телесно – сумасшедшим и мертвецам.

Все же, что можем сказать о ней мы, оставшиеся в живых и в здравом разуме, если и не абсолютно неверно, то глубоко недостаточно.

Писать дальше не могу. Сейчас приехал командир из лазарета и прислал за мной своего денщика, который утверждает, что будто есть сведения, что в Петрограде революция...

О если бы это оказалось правдой!»

Федор Августович Степун. «Из писем прапорщика-артиллериста», 1917 год

Иней, радужно смеясь, блестел под угрюмыми фонарями Николаевского вокзала славного города Петрограда, тысячью мелких, лилипутьих ножей до крови резал зрачки.

Темно и потно клубился народ, заталкивая себя, многоглавого, многоглазого, кричащего, в понуро и мрачно стоящий у перрона длинный эшелон. Теплушки и зеленые вагоны – вперемешку.

«Дыры теплушек досками забьют. Надо бы в вагон втиснуться», – темно и бешено думал Михаил Лямин, пока толпа вертела его, сминала и качала.

Красноармейцы, штыки торчат над головами, бесполезно, бессмысленно сдерживали напирających людей. Глаза выпучены. Языки меж зубов дрожат. Пахнет потом, будто кислыми щами.

«Пот человеческий и мороз не берет. Вареву. Ложку кто в нем крутит?».

Михаил ухитрился вздохнуть, чуть развел локти, они упирались в людское темное, грязное тесто.

Их отряд, разнопестрый, вот он весь тут; эти лица он уже хорошо знает. Зачем их большевики направляют в Сибирь? Холодно там. С кем бороться? В Томске, сказали, уж собрали Совет рабочих и солдатских депутатов.

«Депутат. Слово какое... закомуристое».

Да не надо себе-то врать; всегда есть в кого стрелять. Казаки по всей Сибири встают против новой власти, а уж они вооружены, будто на охоту волчью: и ружья, и наганы, и ножи.

А они? Кто они?

Михаил, проталкиваясь ближе к вагону, озирался: рабочие с Путиловского, рожи будто дегтем перемазаны, так прочернели от станков; крестьяне из Тосно и Гатчины, бороды мочалами торчат, желтые, как у котов, глаза шныряют из-под свалевшихся от старости бровей по лбам, по верхам шапок; юнцы в нескладно сидящих шинелях – может, только с войны явились, и дивятся, что живые остались, а может, вчерашние юнкера, под красное одеяло подстелились; Михаил озирался, раскрыв рот, тяжело, хрипло дышал – и вдруг разом, будто сверху, увидел всю умалишенную толпу и в ней – себя.

Чьи-то, не Михаила, глаза, а будто бы под его лбом, жадно схватывали: вот они все, давят друг друга, – воры с Лиговки, часовщики с Карповки, балтийские рыбаки, архангельские лодочники, да, богатеи здесь тоже, вон жирные рожи, – бабы с корзинами и узлами, пищат как цыплята, вздымают поклажу над головами, чтобы не раздавили, – евреи в ермолках, еврейки в дорогих серьгах, и как еще не вырвали из ушей с мясом, бандерши и шлюхи, их сразу видать по расцветке, – плотники, матросы, грузчики, у матросни фиксы во ртах вспыхивают, пуговицы с бушлатов отлетают, хрустят под ногами толпы, – медички, курсистки, мешанки, торговки солью и козьими платками с Гостиного двора, певички из сгоревших кафешантанов, сестры милосердия в белых, монашских платках, старухи – кто попугая в клетке тащит, кто деревянный саквояж, а одна, щеки черней земли, прижимает к груди ребенка и плачет, а ребенок слепой, ямы глаз нежной страшной кожей заросли, – и солдаты, их тут больше всех, и с фронтов, и из самого Питера, и бог знает откуда понаехали, а теперь вот дальше ехать хотят – если не в Сибирь, как он и его отряд, так в Нижний, в Вятку, в Казань, в Самару, в Екатеринбург, в Челябинск, в Уфу: на Восток.

Шинели старые, тертые, собакой воняющие, новые, с торчащими грозно плечами, с раструбами широченных рукавов – в такой рукав, если в реку окунуть вместо бредня, сома можно поймать, – в дырах от пуль, в неловких смешных заплатках, с засохшей кашей под воротом, с засохшей кровью на спинах и локтях. Коричневые, мутные пятна ничем не отстирать.

«Меченые. Как и я же».

Михаил поежился – не от мороза: от воспоминания.

Шрам через всю грудь. Ранение в легкое. Под Бродами.

Тогда его и еще двести тяжелораненых погрузили в санитарный поезд, и поезд постучал колесами аж до самого Питера.

Мелькнули странные, давние белые руки и пальцы, белые простыни, белые платки с красными крестами; мелькнули в сознании, дико загорелись, вмиг сожглись и пропали. Толпа напирала, плющила.

«А шинелька-то моя тоже... того... с пятном».

Да, эта его кровь так навек и осталась у него на спине, странной тускло-кирпичной картой дикого острова посреди болотного шерстяного океана; ничем не выведешь, да и новье у командира не попросишь, да надо ли?

Теперь глядел на толпу не сверху – снизу.

Мельтешили ноги. Сапоги, валенки, разношенные боты. Подбитые кожей катанки, сапожки на шнуровке, перепачканные мазутом бурки, лаковые галоши, высокие, под колено, ботинки на кучерявом бараньем меху; и лапти, лапти, много их, так и шлепают по грязи, по снегу, по крошеву вокзального, битого дворницким ломом льда, и опять сапоги – хромо-вые купецкие, свиные солдатские, с подошвами-гирями, со сбитыми носами, рваными голенищами. За одним голенищем рукоять ножа торчит.

Михаил потрянул головой и обругал себя. «Вижу черт знает что, брежу».

Вагон был совсем рядом, и в него, матерясь, лезли люди.

Солдат рядом с ним сопел как паровоз. Ну да, ремнем утянулся, как сноп, вон как грудь выпятил. Слева наваливался грузный казак. Михаила по ногам била его шашка.

– Э-э-эй! Ну же! Что вазякается! Живей! Залезай!

На Лямина надавили сзади, и он чуть не клюнул носом по шапке того, что маячил впереди – увешанного оружием от ушей до пяток не пойми кого, солдата или разбойника: на боку револьвер, на другом – пистолет, весь обкручен, как елка новогодняя, патронной лентой, и еще странные темные бутылки на поясе висят.

«Бомбы. Эка вооружился! Тот, кто оружием обвесился, точно смерти боится».

– Граждане! Граждане! Ну вы мне щас ребры сломаети!

– И сломаем! И сломаем! Недорого возьмем!

– Давай, давай! Нажми еще! Место-то там есь ищю!

– Да никаких местов нет уж давно! Только на башки ложиться если!

– Навались, ребята!

Бабы визжали. Мужики кряхтели и орали.

Лямин сам не понял, не помнил, как оказался на вагонной подножке. Рядом с ним, впереди и сбоку, моталось знакомое лицо.

– Сашка! – крикнул Лямин. – Люкин!

– Держись, братец!

Сашка Люкин, белобрысый и дико, как кочерга, худой, слепо и хулигански подмигнул Михаилу.

Казак грубо наступил Михаилу на ногу. Он скрипнул зубами. Ткнул казака локтем в грудь. Казак его – кулаком в спину. Толкаясь и переругиваясь, они оказались внутри вагона. Духота давила хуже людской плоти. Солдат Люкин хватал воздух ртом.

– Братцы! Выбивайте окна!

– Черт! В декабре-то! Как двинемся – полегше будет!

Лямин ощупал револьвер на боку. Кобура не расстегнута; ремень не срезан. Не украли, и слава Богу.

– Эй! – крикнул Люкин. – Отряд! Все здесь?!

Нестройно, там и сям, отзывались, взлетали голоса.

– А командир наш?!

– Здесь командир! – кричали из набитого людьми тамбура. – Слушай мою команду! Всем свободные полки – занять!

Громкий хохот был этому голосу ответом.

– Да! Займешь, держи карман шире!

– Так все и растопырились, нам места уступить!

– А ты, саблей, саблей взмахни! И прогони! Испужаются!

– Обделаются...

– Га-га-а-а-а!

Бабы сидели, глядя мрачно, исподлобья, крепко прижимая к себе корзины, что-то там внутри корзин мягко, скупно оглаживая. «Кто живой там у них, что ли? Да что не клекочет, не хрюкает?»

Каждый свое сокровище с собой везет. Скарб на дорогах войны растеряется, сгорит. А тут еще революция. Все вместе, один огонь с одной стороны, другой – с другой.

Михаил толкся между полок, на них уже сидели, свешивая ноги, и лежали люди.

– Мишка! – заполошно кричал Люкин. – Греби суды! Лезь, быстро!

Бил кулаком рядом с собой по самой верхней, под потолком вагона, багажной деревянной полке.

– Вон кака широкенька! Уместимся обое! А я бы, честно, не тебя бы предпочел, а вон ее!

Указал пальцем вниз. Михаил перевел глаза. Напротив него странно, в гуще человеческого дорожного ада, мерцало лицо. Широкие скулы раздвигают воздух. Сильный, торчащим кулаком, подбородок; плотно, в нить сжаты губы. Прозрачные серые глаза ожгли льдинами. Он только спустя время догадался, что лицо-то женское: слишком нежное для парня, для мужика слишком гладкое.

– Эй! – надсаживался Сашка. – Лезь сюды, девка!

Женщина, оперев ладони в колени, быстро встала, взвилась. И Мишка, и Сашка увидели за ее спиной острие штыка. А на боку – кобуру. И что она в серой, грубого сукна, шинели, тоже увидели. И плечи ее широкие, мужские – увидели.

– Это ты слезай, – сказала она просто и грозно.

Голос у нее оказался такой, как солдату надо: грубый, хриплый, с потаенными звонкими нотами.

– Сестренка... – Люкин утер нос кулаком. – Ну ты чо, сестренка... А то я спрыгну, а ты – кладись...

– Шуруй! – крикнул Михаил и махнул рукой.

Люкин спрыгнул мигом.

Они оба подсадили бабу-солдата на багажную полку. Женщина сладко вытянулась, стащила с плеча ремень винтовки; Лямин пристально смотрел на ее сапоги. Комья заледенелой грязи оттаивали в вагонном тепле. Грязь становилась потеками, темными слезами стекала по сапогам.

«Воевала. Где?»

Он чувствовал исходивший от нее запах недавнего пороха.

Таким уж, слишком твердым, было ее голодное лицо. А щеки около губ – нежными, как у ребенка.

Его голова торчала аккурат напротив ее бледной, медленно розовевшей щеки.

Женщина повернула голову и беззастенчиво рассматривала его. Тщательно, внимательно, будто хотела навек запомнить. Ему показалось, у нее между ресниц вспыхивает слезный огонь.

– Вы это, – Лямин сглотнул, – есть хотите?

Она молча смотрела.

– А то, это, у меня ржаной каравай. И... селедка. Сказали – норвежская!

Женщина закрыла глаза и так, с закрытыми глазами, перевернулась на бок, лицом к винтовке. Обхватила ее обеими руками и прижала к себе, как мужика. Люди в вагоне орали, стонали, вскрикивали, и Лямин с трудом услышал в месиве голосов женское бормотанье.

– Ты не думай, я не сплю.

В полутьме поблескивал штык.

«Уснет, и запросто винтовку у ней отымут. Это лучше я буду не спать».

Подумал так – и с изумлением наблюдал, как Сашка Люкин укладывается на пол вагона, между грязных чужих ног, и уже спит, и уже храпит. Михаил сел рядом с Сашкой на пол, взял его тяжелую, как кузнечный молот, башку и положил к себе на колени, чтоб ему помягче было спать.

И сам дремал; засыпая, думал: «А ведь она сказала мне – «ты»».

Колеса клокотали, били в железные бубны, встряхивали вагон. Они уже ехали, а им казалось, что все еще стоят.

...Командир отряда, Иван Подосокорь, над людскими головами, над чужими жизнями, стронутыми с места, кричал им, красным солдатам:

– Молодцы мои! Вы, молодцы! Дорогая дальняя, а вы бодрей, бодрее! Хорошее дело затеяли мы. Все мы! А кто против народа – тот против себя же и будет! Поняли?!

- Поняли! – кричали с другого конца вагона. – А где едем-то, товарищ командир?
- Да Вятку уж проехали. Балезино скоро!
- Эх, она и Сибирь, значит, скоренько...

– Да што языком во рту возишь, како скоренько, ишо недели две, три тащиться... глаза все на снега проглядим...

Много народу сошло в Нижнем. Места внизу освободились; баба-солдат слезла, встряхнулась, как собака, вылезшая из реки, дернула плечами, пригладила коротко стриженные волосы. Михаил уже ломал надвое темный, чуть зачерствелый каравай, тянул половину женщине.

- Протведайте, прошу.

Она усмехнулась, опять плечами передернула. Он вообразил ее голые плечи, вот если бы гимнастерку стащить.

Протянула руку и не весь кус схватила, а пальцами – нежно и бережно – отломил. В рот сунула, жевала. Глаза прикрыла от блаженства.

- Спасибо, – сказала с набитым ртом.
- Да вы берите, берите все.
- Ты добрый.

Взяла у него из рук и обеими руками отломил от половины еще половину. Ела быстро, жадно, но не противно. Рот ладонью утерла.

Глаза, серые, холодно-ясные, в Михаила воткнулись.

О чем-то надо было говорить. Колеса стучали.

- А вы... на фронте... на каком воевали?

– В армии Самсонова.

– Ах, вот что.

– А ты где?

– А я у Брусилова. Ранило меня под Бродами. Там наступали мы.

– Наступали, – усмехнулась. – Себе на судьбу сапогом наступили.

– А вы считаете, что, революция – неправда?

– Я? Считаю? – Ему показалось, она сейчас размахнется и в лицо ударит его. – Я с тобой – в одном отряде еду!

- В каком отряде? В нашем? В Подосокоря?

– Дай еще хлеба, – попросила.

Он протянул ржаной. Она ломала и ела еще. Ела, пока зубы не устали жевать.

- А пить у тебя нет?

Михаил смотрел ей прямо в глаза.

«Глаза бы эти губами выпить. Уж больно холодны. Свежи».

- Нет. – Развел руками. – Ни водки, ни самогонки. Ни барских коньяков.

Она засмеялась и тихо, долго хохотала, закинув голову. Резко хохот оборвала.

Люкин лежал у них под ногами, храпел.

Состав дернулся и встал. Люди вываливались, а вваливались другие.

- Ты глянь-ка, дивися, на крышах даже сидят!

– Это што. От самого Питера волоклись – так на приступках вагонных народ катился.

– Кого-то, глядишь, и ветерок сшиб...

– Шас-то оно посвободней!

– Да, дышать можно. А то дух тяжелый!

Бодрый, нарочито веселый, с воровской хрипотцой, голос Подосокоря разносился по вагону.

– Товарищи солдаты! Мы – красные солдаты, помните это! На фронте тяжело, а на нашем, красном фронте еще тяжелей! Но не опустим рук! И – не опустим оружия! Все наши муки,

товарищи, лишь для того, чтобы мы защитили нашу родную революцию! И установили на всей нашей земле пролетарскую, верную власть! Долой царя, товарищи! Едем бить врагов Красной Гвардии... врагов нашего Ленина, вождя! Все жертвы...

Крик захлебнулся, потонул в чужих криках.

Женщина покривила губы.

– Про жертвы орет, ишь. Мало мы жертв видали, так выходит.

Лямин глядел на ржаную крошку, приставшую к ее верхней губе.

Она учуяла направление его взгляда, смахнула крошку, как кошка лапой.

– Может, мы и не вернемся никто из этих новых боев! – весело кричал Подосокорь. – Но это правильно! Кто-то должен лечь в землю... за светлое будущее время! За счастье детей наших, внуков наших!

– Счастье детей, – сказала женщина вдруг твердо и ясно, – это он верно говорит.

– Вы, бабы, о детях больше мыслите, чем мы, мужики, – сказал Лямин как можно вежливо. А получилось все равно грубо.

– А у тебя дети есть?

Опять глядела слишком прямо, зрачками нашла и проткнула его зрачки.

– Нет, – сказал Михаил и лизнул и прикусил губу.

Женщина улыбнулась.

– Этого ни один мужик не знает, есть у него дети или нет. А иногда, бывает, и узнает.

– Будем сильны духом! – звенел голос командира. – Уверены в победе! Победим навязанную нам войну! Победим богатых тварей! Победим врагов революции, ура, товарищи!

Весь вагон гудел, пел:

– Ура-а-а-а!

– Гладко командир наш кричит, точно лекцию читает, – передернула плечами женщина, – да до Сибирюшки еще долго, приустанет вопить. Смена ему нужна. Может, ты покричишь?

Лямин сам не знал, как вырвались из него эти злые слова.

– Я к тебе с заботой, дура, а ты смеешься надо мной!

Ноздри женщины раздулись, она вроде как перевела дух. Будто долго бежала, и вот устала, и тяжело, как лошадь, дышит.

– Слава богу, живой ты человек. И ко мне как к живому человеку наконец обратился. А то я словно бы в господской ресторации весь путь сiju. Только веера мне не хватает! Обмахиваться!

Уже смеялась, но хорошо, тепло, и он смеялся.

– А тебя как звать-то?

– Наконец-то спросил! Прасковьей. А тебя?

– Михаилом. А тебя можно как? Параша?

– Пашка.

– Паша, может?

– Пашка, слышал!

Он положил руку на ее руку.

– Пашка... ну чего ты такая...

Опустил глаза: через всю ее ладонь, через запястье бежал, вился рваный, страшный синий шрам. Плохо, наспех зашивал рану военный хирург.

– Что глядишь. Зажило все давно, как на собаке, – сказала Пашка и выдернула из-под его горячей, как раскаленный самовар, руки свою большую, распаханную швом крепкую руку.

* * *

Залпы наших батарей рвали плотный, гаревой ветер в клочки, и Михаил дышал обрывками этого ветра, его серыми влажными лоскутами – хватал ртом один лоскут, другой, а плотная серая небесная ткань снова тянулась, и снова залп, и снова треск грубо и страшно разрываемого воздуха.

«Будто мешковину надвое рвут. И ею же уши затыкают».

Глох и опять слышал. Их полк держался против двух германских. Слышно было – австрияки орали дико; потом видно, как рты разевают, а криков не слышать.

Орудия жажали мерно и обреченно, в ритме гигантского адского маятника, будто эти оглушительные аханья, рвущие нищий земной воздух, издавала невидимая огромная машина.

Лямин тоскливо глядел на мосты через грязную темную, тускло блестящую на перекатах мятой фольгой реку.

«Мосты крепкие. И никто их теперь-то не взорвет. И подмогу – по мостам – они, гаденыши, пришлют. Пришлют!»

Ахнуло опять. Под черепом у Михаила вместо мыслей на миг взбурлилась обжигающая каша, и хлюпала, и булькала. Показалось, каша эта сейчас вытечет в кривой разлом треснувшей от грохота кости.

... снова стал слышать. В дымном небе висел, качался аэроплан. Рота, что укрылась в кустах у реки, стреляла по авиатору, по стрекозиной растопыренным дощатым крыльям.

«Ушел, дрянь. Спас свою шкуру».

Хилый лесок устилал всхолмия. Лесок такой: не спрячешься от снарядов, но и растеряешься среди юных березок, кривых молодых буков и крепеньких дубков.

«Лес. Лечь бы в траву под дерево. Рожу в траву... окунуть... об траву вытереть...»

Он нагнул лицо к руке, мертво вцепившейся в винтовку, и выгибом запястья зло отер пот со лба и щек.

Рядом с ним широко шагал солдат Егорьев, хрипло выплевывал из глотки не слова – опять шматки серой холстины:

– За всяким!.. кустом!.. здесь!.. зверь! Сидит!

И сам зверски оскалившись, умалишенно хохотал, то ли себя и солдат подбадривая, то ли вправду сходя с ума.

Грохот раздался впереди, шагах в ста от них.

Солдаты присели. Кое-кто на землю лег.

Егорьев сплюнул и зло глянул на продолжавшего медленно, будто по минному полю, идти Лямина.

– О! Вот оно и хрен-то!

Все солдаты смотрели на огромную, черным котлом, воронку, вырытую снарядом по склону лесистого холма.

– По нас щас вдарит...

Офицер Дурасов, ехавший поблизости на хилом, сером в яблоках, коне, спрыгнул с коня и передал ординарцу поводья. Обернул к солдатам лицо. И Лямин вздрогнул. Никогда он не видал у человека такого лица. Ни у тех, кто умирал на его глазах; ни у тех, кто сильно и неудержно радовался перед ним.

Из лица Дурасова исходил яркий, мощный нездешний свет.

– Полк! – заорал Дурасов натужно. – Полк, вперед!

Лютый мороз зацарапал Лямину потную, под соленой гимнастеркой, спину. Полы шинели били по облепленным грязью сапогам. Он бежал, и вокруг него солдаты тоже бежали. Этот бег был направлен, он так понимал, не от снарядов, а именно к ним, это значит, на смерть, – но в этот миг он странно и прекрасно перестал бояться смерти; и, как только это чувство его посетило, тут же справа и сбоку ударили перед ними еще три снаряда: сна-

чала один, потом – сдвоенным аккордом – два других. Сильно запахло гарью и свежей землей, и вывороченными из земли древесными корнями.

– Полк! Бегом! – кричал Дурасов.

И они бежали; и Лямин глядел – а кто-то уже лежал, так и остался посреди этого молодого дубняка с разлитыми по земле мозгами, с вывернутыми на молодую траву потрохами; они, живые, бежали, и скатки шинелей давили на спины, и саперные лопатки втыкались под ребра, и котелки об эти лопатки стучали, грохотали, – и люди орала, чтобы заглушить, забить живыми криками ледяное и царское молчанье смерти:

– А-а-а-а-а! Ура-а-а-а-а!

Дурасов опять вскочил на коня и вместе со всеми орал «ура-а-а-а!». Солдаты выбежали на поляну, опять скрылись в дубраве. И снова справа ударило.

«Шестидюймовый... должно...»

Все упали наземь. Лямин повернул голову. Разлепил засыпанные шматками земли глаза. Товарищи лежали рядом, стонали. Уже подбегали санитары, с черными, сажевыми лицами; укладывали раненых на носилки. Снова в небе мотался аэроплан. Авиатор высматривал позиции врага.

«Это мы – враг. А они – наш враг».

Мелькнула дикая мысль: а эта война, она-то людям на кой ляд?! – но времени ее додумать не было. Солдаты поднялись с земли и вновь побежали навстречу огню. Дурасов скакал на своем сером хилом коньке, и лицо у него тоже было черное, страшное, – беспрерывно орущее.

– По-о-о-олк! Впере-о-о-од!

Опять жажнуло, и вверх веером полетела, развернулась земля, попадали молодые дубки, и люди повалились на землю – и лежали, к ней прижавшись, ища у нее последней защиты, а Дурасову нужно было, чтобы полк шел вперед. Валились под осколками снарядов лошади под офицерами, и офицеры, раненые, откинувшись назад, медленно сползали с седел, и ноги офицеров путались в стремях, и лошади падали наземь и тяжестью своей придавливали офицерские тела, а раненые солдаты беспомощно раскидывали руки, царапая землю, беззвучно крича от боли, и земля набивалась им под ногти, под тонкую, как рыба чешуя, жизнь.

Солдаты лежали, а снаряды свистели, падали и разрывались, и Лямин утыкался лицом в землю, остро и глубоко нюхая, вдыхая всю ее, как вдыхает мужик в постели бабий острый пот, и странно, зло и весело, думал о себе: а вот я еще живой.

Гремело и грохотало, и уши уже отказывались слышать. Глаза еще видели. Глаза Лямина схватывали все, как напоследок – как медленно, будто нехотя, с закопченными лицами поднимаются с земли солдаты, и старые и молодые, они теперь все сравнялись, возраста не было, времени тоже: была смерть и была жизнь, а еще – земля под ногами, развороченная взрывами, такая теплая, выбрасывающая из себя вверх, к небу, стволы и листья, будто желающая деревьями и листьями обнять и расцеловать вечно недостижимое, холодное небо.

И тут Лямин сам не помнил, как все это у него получилось. Как все это взяло да случилось: будто само по себе, будто и не он тут все это содеял, а кто-то другой, а он, как в синема, наблюдал.

Он встал сначала на колени, быстро оглядел перед собою землю, лежащие недвижно и ворочающиеся в тяжелой боли, в предсмертье, тела, потом быстро, уткнув кулаки в землю, вскочил, обернулся к солдатам и офицерам, что еще на живых, еще не подстреленных конях скакали поблизости, крепче зажал в руке винтовку, поднял ее над головой и крепко, дико потряс ею, а потом разинул рот шире варежки и крикнул так зычно, как никогда в жизни еще не вопил:

– По-о-о-олк! За мно-о-о-ой!

Побежал. Сапоги тянули к земле, гирями висели. Ноги заплетались. Он старался их ставить крепко, мощно, утюгами.

– За веру-у-у-у! За Царя-а-а-а! За Отечество-о-о-о-о!

Бежал, на бегу прицелился и выстрелил из винтовки.

И рядом с ним свистели пули.

И он не знал, вражеские это пули или свои по врагу стреляют. Бежал, и все.

Бежал впереди, а полк, топоча, давя сырые листья и влажную пахучую землю, бежал за ним, и дубовые ветви били их по лицам, и лес то расступался, то густел, и падали люди, и оставались лежать, и бежали рядом, и просвистело слишком близко, Лямин скосил глаза и увидел, как подламываются ноги серого в яблоках офицерского конька, и вываливается из седла офицер Дурасов, как ватная рождественская игрушка, и тяжело падает головой в траву; фуражка откатилась, конь дернул ногами и затих, а Дурасов глядел белыми ледяными глазами в небо, будто жадно раскрытым мертвым ртом – выпить до дна все небо хотел.

– Ура-а-а-а! За Царя-а-а-а-а! – вопили рядом.

Все бежали, и он тоже. Его обогнали, он уже не бежал первым. Свежо и ласково пахло близкой рекой.

Они, кто живые, подбежали к окопам у реки, а вдаль уже виднелись крыши деревни, и Лямин, по-прежнему сжимая в кулаке винтовку так, что белели пальцы – не разогнуть, видел – высовываются из окопов головы, освещаются измученные лица улыбками:

– Братцы! Братцы! Неужели!

– Ужели, ужели... – бормотал Лямин.

Он присел и сполз на задку в сырой, отчего-то пахнувший свежей рыбой окоп. Окоп был узкий, неглубокий, заваленный мусором, с плывущей под сапогами грязью.

– Братцы! Солнышки! Да неужто прорвались!

Обнимались.

Кто-то плакал, судорожно двигая кадыком. Кто-то беспощадно матерился.

Над окопом стояли прыгнувшие с коней офицеры. Лямин видел перед глазами чьи-то мощные, как бычачьи морды, сапоги. Черный блеск ваксы, будто поверхность озера, просвечивал сквозь слои грязи и глины.

– Кто полк поднял в атаку? Ты? Имя?

Михаил сглотнул. Ему ли говорят?

– Ты, слышь, на тебя офицера глядеть...

– Чего молчишь, в рот воды набрал? Аль не тебе бают?

– Лямин. Михаил. Ефимов сын!

Ему показалось, громко крикнул, а рот едва шевелился, и голос мерк.

– К награде тебя приставим! К Георгию!

Его тыкали кулаками в бока, стучали по плечам, подносили курево.

– Слышь... Георгия дадут...

– Дык ето он, што ли, вас сюда привел?.. Ох, братцы-и-и-и...

В пальцах, невесть как, оказалась, уже дымила сигарка. Он курил и ни о чем не думал. Сырая мягкая окопная глина плыла под сапогами, и он качался, как пьяный.

Гармошка деревенской свадьбы вдруг запела подо лбом.

Он отмахнулся от музыки, как от мухи.

– Милый... да милый же ты человек...

– Вот, ребята, и смертушка яво пощадила... не укусила...

– Молитесь все, ищо бои главные впереди...

Лямин курил, и дым вился вокруг пустой, без единой мысли, головы.

Он и правда плохо стал слышать.

«Контузило, видать».

Вдруг рядом заорали бешено:

– А-а-а-а! Кровища из няво хлещеть! Она, из боку!

Он выронил сигарку и изумленно скосил глаза. Ни удивиться, ни додумать не успел. Повалился в окопную грязь.

...его били по щекам, поливали водой из фляги.

Он открыл глаза и ловил струю ртом. Грязную и теплую.

...потом полили спиртом, у офицера Лаврищева во фляге нашелся; перевязали чем могли. Крови потерял толику, да вокруг резво, резко смеялись, скаля зубы:

– Царапина! Повезло!

Подбадривали.

Он смеялся тоже, так же хищно и весело скалился.

Странно чувствовал колючесть, небритость и даже бледность своих впалых щек.

* * *

– Не бойся... не бойся...

Он все шептал это, глупо и счастливо, а скрюченные руки его, собачьи лапы, разрывали слежалый лесной снег, пытаясь добраться до земли.

Солдат Михаил Лямин хотел закопать в зимнем лесу девчонку, испоганенную и убитую им.

Стоя на коленях, он все рыл и рыл руками-лапами холодное снеговое тесто. Рядом лежал труп. Девочка совсем молоденькая. Ребенок. Сколько ей сравнялось? Двенадцать? Десять?

«Рой, рой, – приказывал он себе, шептал стеклянными колючими губами, – рой живей. А то найдут, не успеешь грех покрыть».

Ощутил на груди жжение креста. Роющие руки убыстрили движенья.

Перед глазами мелькало непоправимое. Как было все?

...Ворвался в избу. Гулкие холодные сени отзвучали криком-эхом. Метнулись юбки, расшитый фартук. Набросился, будто охотился. Да ведь он и охотился, и дичь – вот она, не уйдет.

Девчонка успела распахнуть дверь в избу, да он упредил ее. Цапнул за завязки фартука, они развязались; схватил за плечо. Девка заверещала. В дверях показалась старуха, подняла коричневые ладони, закричала. Накинув девке согнутую руку на шею, другой рукой вытащил наган из кобуры. Бабка упала и захрипела. Девчонка хныкала. Он связал ей руки бабкиным платком. Вытолкал со двора, как упрямую корову.

Гнал в лес: она, босая, семенит впереди, он – стволом нагана тычет ей в лопатки.

«Черт, мне все это снится! Снится!»

Ноги и его, и ее вязли в снегу. Потом неожиданно тихо и легко заскользили по твердой и толстой наледи.

«Ух ты, я как по морю иду. По воде! Ешки, как Христос!»

Так скользили меж кустов. Обмерзлые ветки били девку по глазам. Она защищалась связанными руками.

Так же выставила, защищаясь, вперед руки, когда он решил: все, тут можно, – и ударом кулака повалил ее на снег, в сугроб.

Ее голова утонула в сугробе. Он дрожал над безголовым телом. Она силилась повернуться со спины на живот. Дергала руками, хотела разорвать узел платка; но связал он крепко. Сучила ногами. Михаил рвал на себе ремень, портки.

Обсердился, выхватил из-за голенища нож; быстро, твердой рукой, разрезал на девке кофту, платье. Нож обратно засунул.

...Разодрал, как курицу, под густо усыпанным снегом кустом.

Слышал свое хриплое дыханье. Легкие гудели старой гармонью.

Девка сперва дрожала, кричала, потом паровозом запыхтела; он налег ей на губы небри- той щекой, чтобы заглушить крики. Она укусила его в щеку. Он, продолжая ее сжимать и тер- зать, заругался темно. Потом уткнулся носом ей за ухо. Туда, где сладко и тонко пахло неж- ным, детским.

...Отрядный крикнул – он узнал его голос:

– Лямин! Балуй! – как коню.

...И это была всего лишь война; всего лишь сон; всего лишь зажженная и погасшая спичка, – а он так и не успел прикурить, не успел насладиться.

* * *

Германцы прорвали фронт на ширину в десять верст.

Германцы торжествовали. Они бежали по полям, по пригоркам, даже и особенно не таясь, не пригибаясь, – наперевес держа винтовки, с перемазанными грязью и пылью рожам, пере- кошенными в почти победном, торжествующем крике. Кричали захлеб и бежали, и Михаилу казалось – под их ногами гудит земля.

Белый день, и ясное солнце, и при таком чистом, ясном свете видны до морщины все лица – изломанные воплем и искаженные болью. Русские солдаты выскакивали из окопов как ошпаренные. Враги не набегали – наваливались. Шли серой волной.

А перед волной шинелей моталась и рвалась волна огня.

Лямин, сморщившись от боли в недавней ране, перескочил через убитого, через другого, запнулся, повалился на колено, вскочил.

– Австрияки-и-и-и-и! – как резаное пороса, вопили солдаты.

Кроме штыкового боя, их не ждало ничто; и штыковой бой начался быстро и обреченно.

Лямин бессмысленно оглянулся. Губы его вылепили:

– Батареи... где же... пулеметы... ребята...

Германцы катились огромной серо-синей, почти морской волной. Живое цунами осе- дало. Спины горбились. Штыки вонзались в шеи и под ребра. Вопли русских и вопли врага слепились в единый ком красного, горячего дикого крика.

И тут заработали пулеметы. Лямин размахнулся, всадил штык в идущего на него грудью австрияка – и рухнул на колени, и шлепнулся животом в грязь.

«Еще не хватало... чтобы свои же... подстрелили... как зайца...»

Ор взвивался до небес. Небеса глядели пусто, голо, бело.

Слишком ясные, безучастные плыли над криками небеса.

Германцы бежали и бежали, и рубили воздух и русские тела штыками, и остро и солено пахло; Михаил раздувал ноздри, скользко плыла вокруг рук и живота земля, и солью шибало в нос все сильнее, солью и сладостью, и вдруг он осознал – так пахнет кровь.

Ее было уже много вокруг, крови. В ней скользили сапоги. Ее жадно впитывала, пила земля.

Земля сырела от крови. Михаил скосил глаза: рядом стоял офицер Лаврищев, он палил из револьвера куда попадет – в белый свет, как в копеечку.

Лаврищев стрелял зажмурившись. Плотно, в нитку сжав губы. Лаврищев не видел, как на него тучей под ветром несется австрияк. Широкий, как таежная лыжа, штык уже рвал гим- настерку и вспарывал тело. Лямин воткнул австрияку штык в живот. Враг повалился, он падал слишком медленно, и медленно, смешно падала его винтовка. Упали вместе. Лаврищев разле- пил белые пустые глаза.

– Что... кровь?... – невнятно сказал Михаил и протянул руку к подбородку офицера.

Лаврищев зубами прокусил себе обе губы.

По губам Лаврищева, по подбородку текла кровь и стекала по шее за глухо застегнутый воротник гимнастерки.

– Ваше благородие... – прохрипел Михаил и непонятно как и зачем, нагло, глупо, ладонью вытер офицеру кровь с губы.

И тут раздалась трещотка выстрелов – сзади ли, спереди; колени Лаврищева подкосились, и он повалился в грязь рядом с убитым Ляминным германцем.

Он и мертвый продолжал дико, железно стискивать в кулаке револьвер.

Солдаты выскакивали из окопов и опять валились туда. Кто: наши, враги, – уже было все равно. Из окопных ям доносились крики и хрипы. Лямин увернулся от летящего ему прямо под ребра штыка, сам быстро и мощно развернулся и ударил. Штык вошел в плоть, Лямин резко дернул винтовку назад и выдернул штык из тела врага. Под ноги ему валился мальчик. Лямин ошалел. Отшагнул. Ловил глазами ускользящие глаза подростка-солдата. Юный австрияк, выронив винтовку, шарил скрюченными пальцами по воздуху.

«Ах-ха... какой... молоденький...»

Мальчишке на вид сравнялось не больше четырнадцати.

«Брось... нет... не может быть того... таких в армию-то не берут цыплят... украдкой, что ли, убег...»

Мысли порвались в клочья и улетели по свежему ветру; люди обступали людей, люди убивали, нападая, и защищались, убивая. Лямин спиной почувал: сзади – смерть, – повернулся, взмахнул прикладом и раскрыл череп бегущему на него, громко топочущему по земле гололобому австрияку. Австрияк осел на землю. Рот его еще кричал, а глаза застыли, и из разбитого черепа на жадно дымящуюся землю текло страшное безымянное месиво, похожее на снятое утрешнее молоко.

Артиллерия старалась, пулеметы били и рокотали, то и дело захлебываясь, и с той, и с другой стороны. Лямин слышал русскую ругань, немецкие проклятья.

«Боже... сколько ж нас тут... а черт его знает... тысячи тысяч...»

Вдруг он как-то странно, разом, увидел это жуткое поле, где в рукопашном бое схватились два полка – русский и германский, – летел над землей и видел головы, затылки, узкий блеск штыков, – из поднебесья они гляделись узкими, уже кухонных ножей, – месилось бешеное тесто голубо-серых австрийских шинелей и болотное – русских, и чем выше он поднимался, тем плотнее смешивались эти слои – голубой и болотный; еще выше он забрал, и цвета шинелей окончательно смешались, образовалось одно вспучивающееся, серое, цвета голубиных крыльев, тесто, и на него ложились тени облаков, облака оголтело мчались и то и дело заслоняли солнце, воздух рвался на черные, белые, серые, голубые, грязные тряпки, рвалась и летела вверх вырванная с корнем взрывами трава, рвалась и плакала земля. Он все выше забирал в небо, и ему совсем не странным это сначала казалось, а потом он словно опомнился – и как только опомнился, опять оказался в гуще несчастных людей, пытавшихся убить друг друга, в отвратительном человеческом вареве. И тогда понял – ранен; и понял – в спину; и понял – не убит. Еще не убит.

Еще – не умер.

– Еще... не...

Штыки лязгали друг о друга. Рвались гранаты.

Лямин лежал на земле, а земля вокруг плыла и раздвигалась, и он непонятно, мягко и сильно вминался в нее, проваливался, и понимал: это кто-то наступает сапогами ему на спину, – и рядом валялась винтовка, чужая винтовка, германская, и он тянулся к ней, пальцы превратились в огромные когти, он пытался дотянуться и схватить, и не получалось.

Чей-то тяжелый, как цирковая гирия, сапог наступил ему на руку; и запястье хрустнуло.

«Раздавил... сволочь...»

Лямин хотел завопить, но губы только трудно разлепились и бессильно, беззвучно захлопали друг о дружку, как сырые крылья вымокшей в грязной луже птицы.

Люди рычали, клочкотали, как котлы с кипятком, валились, ползли и куда-то бежали; сцеплялись и, соединенные в страшном последнем объятии, падали на землю и катались по ней, стремясь зубами дотянуться до чужой глотки, чтобы – подобно зверю – перегрызть.

– Мишка! Ты?!

Пальцы Лямина сгибались и разгибались, кровь пропитала подкладку и верх шинели. Темно-красное, грязное пятно расплзлось по спине, и он этого уже не видел: он уже не летел над битвой. Он был просто тяжелораненым солдатом, и он лежал в грязи.

– Бегут! Бегу-у-у-ут!

Край сознания, как лезвием, резанула счастливая мысль.

«Наши... переломили...»

В теплом соленом воздухе пахло спиртным.

Сладкий, приторный запах. Коньяк ли, ром.

Звон стекла: кто-то штыком отбил горлышко бутылки.

И прямо рядом с ним, лежащим, уже, может, умирающим, – пил; и Лямин слышал, как громко, жадно глотает, чуть не чавкает человек; солдат? офицер? – все равно. Булькает питье. Живое питье. Живой человек пьет.

«А я что, умер разве?»

Пальцы, скрюченные, воткнулись в грязь и процарапали ее, как сползающую, сторевавшую вонючую кожу.

– Дай... мне...

Человек услышал. Спиртным запахло плотнее, острее.

Рука поднесла к его губам пахнущее господским напитком стекло.

Он стал глотать и обрезал сколом губы.

Кровь текла из спины, коньяк тек кровью, губы пачкала кровь, щекотала шею.

– Ты лежи... Щас тебя наши... подберут... жив!..

«Жив, жив, жив», – пьяно, светло билось под набухшими кровью надбровными дугами.

Налетали клубы плотного черного дыма; это были не газы, слава богу, не они; так смрадно чадили ручные гранаты австрияков.

Воздух пах ромом, коньяком, кровью, грязью и вывороченными из земли корнями деревьев и трав.

Лямин заплакал, лежа на земле, и из глаз у него вытекали пьяная кровь и горячий коньяк.

А может, ром, черт их разберет, иноземные зелья.

...И германцы, и русские спешили, до захода солнца, прибрать своих раненых.

Не до убитых уж было.

Выстрелы понемногу стихали. Ночь опускалась – черным платком на безумную канарейку.

Наконец настала такая тишина, что в окопах стало слышно, как поют птицы.

Полковой хирург вытащил пулю из спины Лямина, из-под ребра. И опять ему повезло: хребет не задет, заживет – будет ходить, и бегать будет. И – баб любить.

Вытаскивал без наркоза: чтобы утишить боль, дал глотнуть Лямину из своей фляги.

Потом вставил ему меж зубов палку.

Лямин пьянел и трезвел, и грыз палку, и стонал, и хорошо, что не орал – он разве дите, орать? Боль, когда резали и пулю из него тащили, казалась странным огромным чудищем, зубастым, черным как уголь, с дымной пастью, – из бабкиных сказок.

– Ты... ты... тишей... тишей...

Косноязычие вытекало из взнузданного рта пьяно, шепеляво.

– Да я и так уж осторожно с тобой, приятель... осторожней-то некуда...

Называл хирурга на «ты», – то ли в бреду, то ли запанибрата.

Когда рану зашивали – скрежетал зубами. Когда зашили – выдохнул, захохотал без звука, затрясся; и сам вдруг понял, что не смеется, а плачет.

– От радости? Что все кончилось? – спросил хирург, гремя рукойником, вытирая дрожащие пальцы об окровавленный фартук.

Палку вытащили у него изо рта. На языке остался винный вкус зеленой, свежесодранной коры.

Лямин уже не слышал. В ушах вдруг поднялась волной, встала на дыбы и обрушилась на затылок канонада, оглушила, придавила, погребла под собой, и он, распластавшись лягушкой, раскинув руки-ноги, будто парил в ночи летучей мышью, животом ощущая под собой не доски хирургического военного стола, а пух ненужных нежных облаков, падал и падал на близкую, такую теплую, желанную землю, все падал и никак не мог упасть.

* * *

...Пашка видела противогаз не в первый раз. Однако он, как живой, выскальзывал из ее рук и странно, страшно блестел круглыми стеклами, – в них должны смотреть человечьи глаза. Ее глаза.

– Ты, давай... напяливай...

Она раздувала ноздри, и голову кружило, будто она одна выпила четверть водки. Глаза слезились.

Натаскивала противогаз на голову, резина больно рвала, вырывала волосы.

«Я похожа в нем на индийского слона».

– По окопам!

Солдаты прыгали в окопы, валились черными мешками: ночь красила все черной краской. Пулеметный грохот то стихал, то взрывался опять. По траншее солдаты осторожно стали перемещаться ближе к передовой; Пашка оглядывалась – у многих на руках, на шеях, поверх штанин белели наспех обмотанные бинты.

«Раненые... и тоже – в атаку хотят...»

Солдаты встали в ряд. Плечо вжималось в плечо. Многорукий, многоногий, многоглавый змей. Сейчас змея будут терзать; поджигать; протыкать; колоть и резать. А он, несмотря на отмирающие члены, все будет жив. Жив.

Пашка слышала свист пуль. И все шептала себе под нос: не впервой, не впервой, – будто этим «не впервой», опытным и насмешливым, пыталась себя успокоить. Свист снаряда звучал страшнее. Он разрывал уши. Вот опять! Они все повалились на дно траншеи. Пашку и солдат, стоявших с ней плечо к плечу, обдало кровью и грязью. Коричневое, черное, красное сладко, жутко ползло по кривым лицам, затекало в разодранные криками рты.

Ночь шла, но не проходила. Она просто не могла сдвинуться с места. Она застыла, и застыла грязь, и застыли звезды, и стыли на ветру, под вонючими газами брызги и лужи крови.

Сапоги командира застыли на краю траншеи. Пашка застыло глядела на них. Носы сапог странно, дико блестели сквозь грязь и ужас.

– Братцы! Наверх! Живей!

Стыло блеснул под Луной штык винтовки, что вздернула вверх рука командира.

Все полезли из траншеи, молясь, шепча, матерясь, тихо вскрикивая: «Мама, мама...»

Офицеры стояли, все до одного, с нагими саблями. Сабли ледяно застыли, отражая мертвый лунный синий свет.

Человек думает всегда, да; но тут и мысли застыли; они больше не шевелились в убитой страхом и бессловесной молитвой голове. Пашка не пряталась за спины солдат. Они все уже стояли над траншеей. Поверх ямы. Поверх земли; поверх смерти.

Вражий пулемет строчил усердно и горячо. Солдаты около Пашки, справа и слева, падали. Она – не падала.

«Кто это придумал?! К ответу – за это – кого?!»

Стон разрезал, вскрыл ей грудь. Вот сейчас она перестала быть солдатом Бочаровой.

Смертельно раненый солдат стонал, как обгоревший на пожаре ребенок.

Стон разрезал ее, а спину хлестнул длинной, с потягом, плеткой дикий крик:

– Впере-о-о-о-од! Братцы-ы-ы-ы-ы!

Те, кто были еще живы, сначала медленно, потом все живей передвигали ноги по застылой, скованной ночным морозцем земле; шли еще быстрее, еще; вот уже бежали. Небо вспыхнуло и раскололось.

«И небеса... совьются в свиток...»

Края рваных мыслей не слеплялись, как края сырого пельменя или пирога. Они бежали вперед, все вперед и вперед, так было приказано, и даже не командиром – кем-то сильнейшим, лучшим и высшим; тем, кого надо было беспрекословно слушаться, и они слушались, бежали и стреляли, на бегу неуклюже передергивая винтовочные затворы.

– Ребята-а-а-а! Проволока-а-а!

Они, слепые от страха и огня и ненависти, не видели, что добежали до вражеских заграждений.

Остановились. Таращились на проволочные ржавые мотки. Пашка подхватила под локоть раненого солдата.

– Петюшка... слышь... ты только не упади... продержись...

– Мы сейчас, – хрипел солдат Петюшка, – щас все тут... на проволоке этой... на веки вечные повиснем...

Дикий вопль приказа вспорол суконный стылый воздух. Ночь не двигалась ни туда, ни сюда. Смерть, ее черный лед невозможно было разбить ни пешней, ни топором, ни штыком.

Живой ли человек отдал приказ? А может, это задушенно крикнуло черное дупло корявого зимнего дуба?

– От-сту-па-ем!

И тут стылый воздух внезапно и страшно стал таять, огонь вспыхнул по всем сторонам, куда глаз ни кинь, везде до неба вставал огненный, смертный треск. Люди пытались бежать, идти, ползти обратно, но они потеряли направление; голос командира больше не гремел над ночным полем; солдаты безжалостно наступали слепо бегущими сапогами на раненых, раненые у них под ногами вскрикивали, молили о чем-то – верно, забрать с собой, спасти, – но человек спасал лишь себя, себя лишь нес в блаженное укрытие. Пашка бежала и оборачивалась на бегу, и видела глаза, что блестели в ночи на земле, и руки, что, корчась, с земли тянулись. Страшнее этого она не видала ничего.

Рушились в траншею, подламывая ноги, выбрасывая вперед локти, падая на животы, на бок. Сползали на задку. Кто без крови, а кто в крови. То не раны, то смех один. Раненые там, во поле, валяются. Она себя ощупала. Да вроде все хорошо с ней.

– Богородица Пресвятая, – бормотала слепо-глухо, – спасибо, матушка... пощадила на сей разок...

– Пашка, – ткнул ее солдат в бок, – у тебя, милаха, хошь какой кусок в кармане-т завался?... а?... жрать хочу, не смейся...

Она зажмурилась. В уши все ввинчивались огненные стоны тех, лежащих на земле, тех, что топтали сапогами, равняя с землей.

Она обернула вымазанное землей лицо к просящему солдату.

– Хоть бы один, Лука. – Губы ее опять мерзли, не шевелились. – Хоть бы... кроха... Солдат вдруг наклонился, будто собрался падать, и припал лбом к ее плечу.

– Пашечка!... мы-то живы...

Из-под прижмуренных ее глаз сочились слезы, прочерчивали по грязным щекам две блестящие под Луной узкие дорожки.

– Лукашка... брось...

Солдат трясся всей спиной, всем телом. Кажется, хотел Пашку обнять. Она этого испугалась.

Присела, прислонившись спиной к глинистой стене траншеи. Земля одновременно отдавала ей и свой холод, и свое тепло. Под закрытыми веками вспыхивали и гасли красные воронки.

Потом ее веки проткнули насквозь лица, маленькие, меньше спичечной головки, и ярко горящие. Лица глядели из набегающей тьмы, родные. Пашка шептала имена. Силуан. Митя. Севка. Юрий. Агафон. Евлампий. Глеб. Игнат. Ванечка.

– Ванечка... – прошептала.

У солдата Ванечки, молоденького совсем, картавого, родом из костромского Парфентьева Посада, веснушки на веселой роже странно складывались в рисунок птицы, взмахнувшей крыльями.

Ее солдаты. Ее друзья.

Горящие в ночи лица надвинулись, расширились, надавили на веки горячей, молчаливой просьбой, криком о спасении.

– Милые... иду к вам...

Пашка сама не понимала, что и зачем делает. За нее это понимало ее мощно, крепко бьющееся в ребра сердце; оно расширилось, заняло все внутри нее, разрывало ее – на слезы, на нелепые взмахи рук, на вздрогги неуклюже ползущих ног. Она выползла из окопа и уже подползала по кофейной, шоколадной грязи к проволочным заграждениям русских войск, когда сзади раздался хриплый волчий вопль:

– Пашка!.. Куда!..

Она не слыхала. Ползла. Изредка там, сям рвали ночь выстрелы. Пашка ложилась лицом в грязь и замирала. Она, как лиса, притворялась убитой. Когда утихало, ползла снова. В первого раненого уткнулась голой башкой. Боднула его, как баран. Замерла. Слушала воздух. Ночь текла черным горячим грибным отваром. Пашка, не вставая с земли, закинула руку раненого себе за загривок, подлезла под него, ощутила его грудь на своей спине, на лопатках. Поползла обратно.

Солдат тяжело давил на нее – увесистый, рослый. Пашка под ним себя жуком чувствовала, копошащимся в чьем-то жестоком кулаке. Вот окоп. И солдаты лезут, раненого подхватывают, волокут. Она даже отдышаться не успела: не хотела. Ее телом двигала сила, гораздо более могучая, нежели желанье спастись.

«Спасти. Их – спасти!»

Второго волокла. Третьего. Дышала с натугой. Вместо легких в груди играла старая дырявая батькина хромка. Она опять отползала от родной траншеи и ползла вперед, ползла туда, на нейтральную полосу, и там вокруг нее то и дело рвалась тьма: стреляли, и не попадали.

«А заговоренная я».

Прижаться к земле. Вжаться в нее. Еще плотнее. Еще крепче, безусловнее.

Так прижаться, чтобы ни одна чертова пуля не царапнула тебя, не сразила.

Ночь, ты что, и вправду застыла куском черной пахучей смолы? Когда ты, мать твою в бога-душу, растаешь?

Она уже ловко подползала под раненого; уже ловчей ползла с ним на спине. Возила щекой по земле, отирая землей и грязью липкий, как мед, пот. Сбрасывала спасенного в окоп, и его тут же подхватывали на руки; и кто-то снизу крикнул пронзительно:

– Пашка! Господь не забудет тебя!

Настал миг, когда она, ловя воздух ртом, больше не могла ползти за ранеными: тело уже не слушалось. Ноги и руки люто ныли. Она столкнула в траншею последнего, спасенного ею солдата и растянулась на земле без сил. Все куда-то провалилось: и земля, и небо, и выстрелы, и стоны. Остались только боль, и мокрое ее лицо, и стыд – почему силы покинули тебя, сильная ты ведь, Пашка, а что сплеховала, так тебя и растак.

А потом и стыд улетел. Зато прилетел рассвет, наконец-то.

И сизый голубиный тусклый свет нежно, пуховой деревенской шалью, укрывал Пашку, мертво лежащую на краю окопа: куда рука, куда нога, пластается по земле зверем, землю обнимает, а земля ее несет на черном блюде, – всю ее, гордую перелетную, подбитую птицу, со всем ее пухом, костями и потрохами, перемазанное сильное, жилистое бабье тело, тяжелую простоволосую голову, и волосы уж отросли, стричь пора, и земля под ногтями, и на земле – отпечатки ладоней, и полосы крови прочерчивают землю, колкий утренний снег.

... Раненых на пункте сбора спросили, кто ж такой смелый их вынес с поля боя. Раненые в один голос повторяли: «Пашка, Пашка Бочарова».

Пашку к вечеру вызвали к командиру. Глаза ее потерянно выхватывали из сумерек медные пуговицы на командирском кителе, серебряные лопасти креста, морщинистые пальцы, виски офицера, будто усыпанные жесткой холодной порошей, – а шевелюра темная, – блеск вставного серебряного зуба, тусклую красную ягоду лампадки у иконы, над головами людей, в красном углу. У нее занималось дыхание, вдох и выдох давались с трудом. Она стеснялась этого простудного, хриплого сопения. Старалась тише дышать. Опустила глаза и глядела себе под ноги, на носки грязных сапог.

«Грязная я... И сапоги не почистила... кляча водовозная...»

– Солдат Бочарова, ближе подойди.

И командира глотка странно, с дрожью, хрипела.

Пашка шагнула вперед и чуть не наступила сапогом на сапог командира. Вплотную, нос к носу, стояли сапоги – начищенный командирский и грязный Пашкин.

– Солдат Бочарова! Награждается орденом святого Георгия четвертой степени... за исключительную доблесть, проявленную при спасении множества жизней русских солдат под огнем... неприятеля...

Пашка закрыла глаза, потом опять открыла их. Смотрела в лицо командиру.

По щекам командира катились слезы, а рот улыбался, и железный зуб звездой блеснул.

Пальцы командира смущенно зашарили по Пашкиной груди, прикрепляя к гимнастерке орден, и Пашка скосила глаза и видела, как в центре серебряного креста с тяжелыми, как у мельницы, лопастями скачет всадник на белом эмалевом коне, и в руке у всадника крохотное копьё, и им он разит змея. Голова у нее закружилась, она подняла взгляд, сцепила зубы и выпрямилась, а командир, кряхтя, все возился с орденом, не мог прикрепить, и крест все падал ему в ладонь.

Наконец получилось.

Слишком близко моталось лицо командира. Глаза в глаза воткнулись.

– Служу Царю и Отечеству! – громко выкрикнула Пашка, и щеки ее, от взбежавшей в лицо ярой густой крови, стали краснее лампы.

И случилось странное. Ей казалось – все колышется, плывет во сне. Командир обнял ее, как отец – дочь, и вытер мокрую от слез щеку об ее погон, о болотную траву гимнастерки. И, отняв лицо, ее ладонью утирался.

– Спасибо тебе, Пашенька. Спасибо. Спасибо, родная, – только и повторял, тихо и сбивчиво, еле слышно, стискивая руками ее плечи, и сквозь рукава поджигал Пашкину кожу огонь командирских ладоней, и Пашка, оборачиваясь, оторопело видела: все вокруг, в ставке, стояли навтыяжку, молча, и у всех глаза солено блестя.

* * *

Война катилась, война варила свое варево, а люди – свое, и война ревновала людей к людской пище, она злобно и торжествуя разбила вражьи снарядами полевую кухню, и голод заполз в желудки солдат длинными черными червями. Очумело трещали пулеметы. Новобранцы кричали и громко молились. Отдали приказ о наступлении. Солдаты выбирались из окопов и бежали вперед, и падали, и проклинали мир, себя и Бога. А потом, лежа на земле, умирая, просили у Бога прощенья, но Он не слышал их. Дым налетал и скручивал грязной тряпкой, выжимал легкие, люди кашляли и падали, крючась, прижимая руки к животу, их рвало прямо на сохлую траву, на наледь, на липкую, как черный клей, землю. Солдаты выдвинули штыки вперед, бежали, не видя и не слыша ничего – еще живые, уже безумные. Германцы отбивались. Русские напирали. Всем казалось: еще немного, и это будет последний бой!

Пашка стояла на краю вражеского окопа, когда ее нога вдруг налилась горячей горечью и железно онемела. Она падала, не веря, что падает, и не веря, что именно такая бывает смерть. Рядом с ней орал: «Ребята! Неприятель бежит! Мы гоним его! Гоним!» С винтовками наперевес бежали солдаты, с лицами злыми и радостными. Пашка лежала, так смиренно лежит на земле лишь срезанный серпом колос, и рядом с ней так же тихо, покорно лежали раненые солдаты. Самый ближний плел языком:

– Боженька... Божечка... молю Тебя... умоляю... дай мне жить... дай...

Нога все горячела и твердела, и сапог наливался кровью, как бокал вином. Пашка глядела в небо: там сквозь лоскутья туч робко вспыхивали и гасли звезды. Она не хотела смотреть в небо. Слишком далекое, чужое было оно.

Она закрыла глаза.

«Умирать буду... да наплевать... когда-то – надо...»

Появились санитары с носилками. Взвалили ее на носилки. Несли, и тут она опять глаза открыла и мир видела – бешено ревущий, а потом опять тихий, без шороха и свиста, бедный, подорванный сумасшедшими людьми мир, и на пункте первой помощи ей промывали и перевязывали рану, и она не издала ни крика, ни стопа, ни звука. До санитарного поезда ее, вместе с другими ранеными, везли в кузове тряского грузовика, и она лежала и видела других людей, что рядом с ней лежали, не поворачивая головы – будто сама стала зрячим дощатым кузовом машины, зрячим солнцем, зрячим равнодушным небом.

Их доставили в санитарном поезде в Киев, и на вокзале, что кишел ранеными и калекками, стонал одним попрошайным, длинным липким стоном, их снова закинули, как бессловесные дрова, в новый грузовик, и долго везли, и тряслись раненые бедные тела по булыжным киевским мостовым; а в Евгеньевской больнице так же грубо сгрузили и разнесли на носилках по палатам, и уложили каждого на койку, и Пашка озиралась – кругом мужики, она одна тут баба, а как же под себя тут в судно медицинское ходить, ведь стыдоба одна!

«Значит, придется в нужник пешком шастать. Некогда разлеживаться».

Поглядела на свою забинтованную ногу. Ногу ее санитары положили поверх одеяла, как замерзшее в зимнем сарае бревно. Пришел один доктор, затем другой, после и третий; ногу мяли, ощупывали, тыкали в плотные бинты жесткими пальцами, подымали и опускали, проверяя подвижность тазобедренного сустава. Доктора говорили меж собой на красивом птичьем языке, и Пашка ловила ухом лишь отдельные слова: инъекции... боль... морфин... спиртовые компрессы... стрептоцид, йодоформ... иссечение омертвевших тканей... загрязнение

землей... хирургическое вмешательство... и еще много чего ловило ухо, ловило и упускало, и с внезапной жалкой мольбой она глядела в лица докторов, на их умные лбы, на белые снеговые шапочки: ну помогите! помогите! я не умру? не умру?.. – а потом стыдно лицо отвернула, глядела пусто, холодно в закрашенную масляной краской больничную голую стену.

«Да и пускай к чертям умру!»

Шли дни и месяцы, она дней не считала, календаря в больнице не водилось, лишь сестру милосердия можно было попытать тихонько: скажи, мол, милушка, какое нынче число? И год какой, забыла. Ей сообщали и число, и месяц, и год. На вопрос: идет ли война? – ей отвечали: а как же, идет, куда она денется, – и темным заволакивало подо лбом, и жаром полыхали бесслезные веки.

* * *

Руки, ноги, головы, туловища. Оторванные ступни. Беспризорные, навек брошенные и людьми, и птицами, и небесами тела.

Не приберут. Не похоронят. Не споют литию.

Полк сидел в захваченных давеча германских траншеях. Лямину безумно хотелось есть и курить. Он не знал, чего больше хотелось. Ему все равно было, какое тут рядом село или город какой, а завтра, видать по всему, их всех ждало большое сражение; и уже давно все, и он в том числе, перестали думать, последнее оно в этой войне или будет еще сто, тысяча таких сражений, и еще сотни тысяч живых людей станут мертвецами.

Мысль притупилась. Казалось: война шла всегда, и будет идти всегда.

Лямин пытался пронизать темень взглядом.

– Не видать ничего, братцы...

– А вонь-то, вонь-то какая...

– Да, смердят.

– Трупы воняют... не могу больше терпеть, братцы...

Для тепла солдаты садились на мертвецов, чтобы не сидеть на холодной земле. Михаил вытянул ноги. Они гудели. Он положил сначала одну ногу, потом другую на валявшийся перед ним в траншейной грязи труп. Ногам стало мягче, привольней. Михаил бросил руку вбок – и пальцы ощутили мертвое лицо, мертвые чьи-то губы, нос. Он отдернул руку и выматерился.

Солдаты рядом с ним вздыхали: пожевать бы чего! – кто-то дрожал и стучал зубами так громко, что все этот костяной стук слышали. Лямин сидел на трупе и сам себе дивился.

«Вот сижу на мертвяке, и меня не тошнит, и даже не блюю, и даже... улыбаюсь...»

Он и правда попытался тихо, дико улыбнуться. Губы раздвинулись.

– Ты чо скалится, Мишка?

Он опять стиснул губы.

Его мертвец спросил? Или он сам себя спросил? Или друг, еще живой?

«Все мы тут чертям друзья. И за то, что человек убиваем – точно в аду поджаримся, все до единого».

Думал страшно и холодно: вот сижу на трупе, а почему так тепло, он что, не мертвый подо мной? Вытянул руку, чтобы пощупать труп, и рука вдруг попала во что-то скользкое, и вправду теплое, плывущее, расплзающееся под слепыми пальцами.

Тьма не давала разглядеть, но Михаил и без того понял: под пальцами, ладонью – развороченный, взрезанный живот.

Тьма поднялась изнутри, дошла до глазных впадин и застлала, смяла обрывки мыслей.

Он еще миг, другой сидел на еще не остывшем трупе; еще держал руку в чьем-то разорванном брюхе, еще пальцы щупали скользкость кишок; и не помнил, как руку вынул, и не чуял, как, мягко заваливаясь набок, упал.

... очнулся в блиндаже. В лицо ему остро светил электрический фонарь.

– Очухался. Солдат! Эй!

Михаил щурился на свет.

– Фамилия!

– Лямин.

– Сесть можешь?

Лямин, кряхтя, сел.

– Чай сейчас дадут. Удержишь?

Он протянул обе руки к подстаканнику. Обжег ладони, но руки не отдернул. Поднес чай к носу. В граненом толстом стакане коричнево, густо колыхался щедро заваренный чай – заварку добрая рука мощно сыпанула в стакан, она разбухла и заняла полстакана.

– Не обессудь, без сахарку.

Он уже хлебал чай, обжигая рот, дуя в стакан, грея руки, пил и пил, вглатывал коричневый огонь, стараясь забыть, а может, запомнить.

Вот сейчас захотелось кричать.

Он с трудом подавил крик, загнал внутрь себя, как березовым швырком.

Вокруг него, сзади и сверху пахло землей, кровью, снегом и горячим чаем.

Тут подоспела атака неприятеля. Снаряды лупили сначала мимо, потом все более точной становилась наводка. Прямо над блиндажом разорвался снаряд, и голос рядом тихо сказал:

– Выход бревнами завалило. А может, и землей.

«Все, это все, кончено».

Лямин все еще держал в руках горячий подстаканник, когда ахнуло так мощно, что уши пронзила толстая спица резкой, яркой боли. Он прижал стакан к груди. Чай выплеснулся ему на портки. Жажнуло еще, снаряд пробил крышу блиндажа, и на Лямина стали валиться люди. Чужой спиной ему придавило лицо. Чужой рукой – горло. Фонарь погас. Он валялся в углу блиндажа, засыпанный землей, заваленный бревнами и людьми. Убиты они или ранены, он не знал. Он мог еще думать; они уже не могли.

Снаряды выли и падали, выли и разрывались – то над блиндажом, то вблизи, то поодаль. Обстрел шел плотный и частый. Германцы не жалели боевых запасов. Лямин пошевелился, выпростал голову из-под мертвой спины. Убитый офицер. Минуту назад он угощал его чаем.

Рукав гимнастерки промок от крови.

Он вывернул руку, пытаясь рассмотреть, куда ранило.

Это осколки стакана врезались ему в локоть, в плечо.

... Приказ идти в атаку он уже воспринимал так, как автомобиль воспринимает поворот руля. Повернули – едет. Затормозили – встает. Они все и правда стали уже немного не людьми. Что-то железное, шестереночное появилось в них.

Перебрались через ничейную полосу. Лямин оглянулся: лица у солдат тяжелые, жестко-квадратные, скулы выпирают над воротниками шинелей; идут ровно, размеренно, неуклонно. Идут и знают: вот сейчас убьют.

Смерти боялись все так же. Но она так пропитывала собой все сущее, как причастное вино – причастный хлеб, что страх этот был уже не страх, а так, баловство ребячье. Над ним смеялись; над собой – смеялись.

Проволочные заграждения германцев стояли целенькие. Огонь русской артиллерии не тронул их. Солдат Рындык, Мишкин приятель, сплюнул досадливо.

– Ишь. Будто щас натянули. Не проберемся мы через эти колючки! И мечтать нечего!

Пятились.

Все пятились, а Лямин повернулся к германским окопам спиной.

Рындык ощерился.

– Ты, гли-ко, молчат, не пуляют...

И только сказал – вокруг Мишки земля встала черными веерами.

Все скопом побежали, грязь под ногами свински чавкала. Молча бежали. Враг стрелял им в спины. Вот один упал. Вот другой. Лямин сильнее сжал ствол взятой наперевес винтовки.

«Сейчас... в меня...»

Не ошибся. Пуля, пропев, вошла под колено. Еще пронзительнее пропела другая – и раздробила локтевой сустав. Третья просвистела – воткнулась в бок; стало невыносимо дышать. Тьму ртом ловил, откусывал, воздух грыз.

«Метко стреляет немец... на мушку – почему-то – подлец – меня... взял...»

Лямин еще немного пробежал, подволакивая раненую ногу. Потом боль скрутила резкой, мгновенной судорогой, и он упал.

...сколько так лежал, не мог бы сказать. Час? День? Два?

Рядом с ним умирали люди. Они просили не о жизни – о смерти.

– Боже... Господи... возьми меня скорей к Себе... не мучь Ты меня больше...

– А-а-а!.. Умереть... сдохнуть хочу...

Солнце взошло. Наползли тучи. Укрыли его – так немощную старуху укрывают теплой шалью. Тучи бежали и летели, и рвались, и снова кто-то громадный, молчащий сшивал их и размахивал ими над бездной.

«А если возьмут в плен?... да, в плен...»

Мысль о плене не казалась позорной. Это была мысль о жизни.

А боль все росла, мощнела и становилась сильнее жизни.

...он слышал голоса. Голоса возникали то справа, то слева, то поднимались, росли из-под земли, и тогда он пугался – это не могли быть голоса людей, он понимал: это голоса подземных, адовых существ, и вот оно, наказание за многогрешную жизнь, за эту войну, где погрязли они, потонули в крови и проклятьях.

«Ад, он настоящий... он – близко...»

Голоса исчезали, и он думал обнаженно и открыто, словно у него был голый мозг, без черепа, нагло подставленный всем ветрам: а ведь вот он, настоящий-то ад! Вот – он в самой его сердцевине! И не надо далеко ходить, и в старых пожелтелых Библиях его искать. Они – в аду, они сами – кровеносные сосуды ада, его сухожилия и кости, его черное нищее сердце, и оно брызгает черной кровью, и подкатывается к горлу мира, к ангельским небесам.

«Мы – и есть ад! А ангелов – нет! Есть только ад, а Бога – нет!»

Вспомнил чай, что начал пить намедни в блиндаже. Вспомнил бедного офицера. Вспомнил много чего, и нужного и ненужного; солнце стояло в зените, потом катилось вниз, в сетчатую лузу прибрежных кустов, господским, слоновой кости, бильярдным шаром.

Стреляли редко. Четко.

«Может, снайперы...»

Хотелось чаю. Хотелось горячего супу. Воображал миску с супом, и косточка дымится мозговая.

Поворачивал голову. Его рвало на занесенную снегом ржавую сухую траву.

Давно сгибли под лобной костью всякие жалкие мыслишки о санитарях, о госпиталях, о спасении, о непонятной будущей жизни, – давно уж мыслила не голова, а все израненное тело – сочащиеся кровью руки, ноги. Бок тоже мыслил; бок говорил ему: вместо меня у тебя тут уже месиво из обломков костей и крови, а может, и селезенка пулей проткнута, а почему же ты все еще живешь, скажи?

...вдали лязгали железом о железо. Железный бряк раздавался, иплыли запахи.

Пахло супом.

Германцы ели суп. Гремели котелками.

...возникла великая тьма, а потом истаивала, и вместо нее над головой, слишком близко, появлялись огромные птицы. Птицы дикой величины снижались, хлопали адскими черными крыльями, и тело понимало – это черные ангелы ада, и сейчас они у него выключают глаза. Тогда он из последних сил сжимал веки и скалил зубы.

...день умирал, рождалась ночь, и выстрелов не слышно было. Лямин лежал в поле среди мертвых; вернее, лежало то, что осталось еще на свете вместо Лямина.

Когда появились люди, у них за спинами дрожали и бились на ветру белые простыни небесных крыльев. Рот Лямина давно потерял и речь, и шепот. Губы лишь вздрагивали. По этим дрожащим губам санитары и определили: этот – живой.

– Клади, ребята, на носилки! Раз-два-взяли! Потащили!

Ангелы неба взвалили его на носилки и побежали, низко пригибаясь к земле, и редкие одиночные пули вспахивали утренний молочный, стылый туман.

...он обрел способность слышать. Ангелы говорили меж собой. Они говорили на русском языке. Он был не в плену. Он это понял.

Промыть рану. Перевяжут на пункте. Глоток спирта? Расширить сосуды. Потеря крови. Много потерял? Переливание в госпитале. Когда везти? Куда? Поезд на Москву санитарный. Поезд на Петроград? Лучше. Доставить на вокзал. Какой дорогой? В объезд?

...эхо звенело, расходилось кругами тумана: в объезд, в объезд, в объезд...

Разум не помнил ни вагона, ни поезда. Тело – помнило все: и питье, теплую, со вкусом железа, воду из кружки, что подносили ко рту, и скудную еду на станциях – суп рататуй из жестяной миски, черствую ржаную горбушку, и он здоровой рукой размачивал ее в супе; и жесткую вагонную полку, и одеяло, что то и дело сваливалось на вагонный пол, и его подтыкали то и дело; и сквозняк, и обстрелы, и вопли матерей над убитыми в поезде детьми, и карканье зимних ворон, и сбивчивую, тонкую как слеза, задыхающуюся в духоте и ужасе нежную молитву – чужой тонкий голос вел ее за собой, как гуся, вывязывал на невидимых коклюшках, колол иглами слов истончившуюся, бедную, ветхую ткань бытия.

Михаила Лямина привезли с театра военных действий в Петроград, в Дворцовый госпиталь, и положили, как особо тяжело раненого, в горячечном бреду, с его опасными и уже, за время долгого пути, воспаленными ранениями в ногу, плечо и спину, в Александровский зал Зимнего дворца.

* * *

...Он старался, старался и все-таки разлепил присохшие друг к дружке веки. Ему надоела тьма подо лбом. Тьма выедала его изнутри. Сгрызла всю радость и надежду; и он стал одной белой, нищей, обглоданной костью. Уже не человеком.

Глаза робко ощупывали глубину пространства и тонули в ней. Опять выныривали.

Сознание то включалось, то выключалось электрической диковинной лампочкой; когда загоралось – хотелось кричать от боли и стыда.

Когда гасло – дышал громко, глубоко, облегченно.

Снова зажигался под черепом свет. Свет бил откуда-то сбоку, вроде как из под длинной, прозрачно и бессильно висящей гардины, из-под завихренья снящейся метели. Свет помогал рассмотреть то, чему сознание отказывалось верить.

Анфилады. Лепнина и позолота. Новогоднее сверкание хрусталя.

Стон, длинный, полный близкой смертной муки, с соседней койки.

Лямин пошевелил пальцами. Пальцы – двигались.

Почему все вокруг белое? Белое, зимнее?

«Зима? Сколько ж я тут провалялся?»

Где – тут, а сам толком не понимал. Опять голова поплыла, поехала.

...Белым коленкором затянуты стены. Чисто выбелен потолок. Лепнина громоздит ледяные гроздья. Странный стук. Он думал, это идут часы, а это стучали каблуки врачей и сестер милосердия по мрамору пола и лестниц.

Далеко разносился в белом воздухе ледяной, молоточковый стук.

Тонко, нежно тянуло съестным: нитка запаха то рвалась, то опять перед носом крутилась.

«Где-то рядом еду стряпают. Я в лазарете, это верно. Вот и на койках люди кричат. Почему лазарет похож на дворец?»

Туманно плыли, светло вспыхивали и умирали голоса. Иногда перекрещивались. Нельзя было понять, кто говорит и что. Ни одного знакомого слова.

«А может, я в плену. И это госпиталь австрияцкий».

Порывался встать. Изю всех сил уперся локтями в матрац. Боль прошла руку насквозь, а потом туго стянула ее – и кровь перестала ходить в ней туда-сюда.

Шире распахнул глаза: прямо над его головой с потолка, изукрашенного виноградной лепниной, свешивалась тяжеленная, как германский танк, массивная люстра.

Он прижмурился.

«Чего доброго, рухнет... Ринется вниз... Аккурат мне на лобешник...»

Прислушался: тихо, зимняя тишина, и снаряды не рвутся.

«А может, возьмут да подорвут все это великолепье сейчас. Как ахнет...»

Повернул на подушке увесистую, как грузчицкая гиля, голову.

В зимнем белом мареве моталась ширма, за нею кто-то тяжело, долго опять стонал.

Донесся заполошный крик:

– Сестричка!.. Мамочки! Мамочки! Ма...

Крик сорвался в белизну, треснул и раскололся бесстрастным льдом. Каблуки опять стучали. Кто-то спешил, бежал.

«Опоздали... может, он уже...»

– Доктор! Доктор! – Голос сестры взвился чисто и ярко, будто не в госпитале она стояла – на морском побережье, и чайки в выси отвратительно, пронзительно вопили. – Пожалуйста! Подойдите! Скорее!

Куда она кричала, в какую белую пропасть?

Кто-то шел, тяжело переваливаясь; чуть слышный, доносился легкий древесный хруст паркета.

– Ах ты боже ты мой...

– Доктор! Что принести? Вы командуйте! Я мигом!

– Деточка... тащите из Петровского зала шприцы... они там кипяченые стоят... в железном кювезе... прямо у входа столик, увидите... быстро!

Каблуки стучали быстро и часто, и погас, исчез дробный стук.

Ширма качалась, вздымалась и скрывала за собой то, что никому видеть нельзя было; если на полях сражений они все умирали на виду, на глазах друг у друга, у железных широколобых адских машин, у командиров и неба, то здесь, в лазарете, все должно быть шито-крыто.

– Бедный ты... – вслух прохрипел Лямин.

И не понять, кому вышептал: то ли ему, за ширмой, то ли себе.

Стук опять появился и нарастал. Превратился в легкий частый звон.

«Словно кобылка медными, бедными подковами подкована. Пьяным кузнецом...».

Из-за ширмы доносились резкие вскрики, они кромсали и протыкали насквозь белый воздух; потом снова полоумные стоны, будто кто-то то ли пел, то ли длинно, смертно плакал. Бормотанья, увещеванья, куриный клекот, зверий рык, голоса звенели и спотыкались, сыпали черное зерно бесплодных слов. Люстра над головой не качалась – висела ровно, тяжело. Не горела: темнела, она одна, мертвая, а вокруг нее медленно, странно загорались другие

люстры – одна, другая, третья, четвертая, пятая. Горящие танцевали, хороводом ходили вокруг мертвой, почернелой.

«Лампы в ней перегорели... вот какое дело-то...»

И вдруг ширма замерла. Больше не качалась. Встала прямо, как солдат во фрунт.

Высокая, складки крупные, ткань оранжевая, солнечная.

«Китайский шелк... дорогуций...»

Из-за мертвой ширмы вышел живой человек. Доктор был облачен в мятый белый халат; малорослый, он то и дело привставал на цыпочки перед высоконькой девушкой в белой косынке сестры милосердия. Лямин видел доктора в лицо, а девушку с затылка. Доктор стал что-то говорить, мелкое и жалкое, сбился, махнул рукой в резиновой перчатке; перчатку пятнала кровь, будто вино или варенье; стал другой рукой, голой, резиновую перчатку стаскивать, не смог, резина рулетом закрутилась, – и заплакал, и резиновыми пальцами растирал слезы по щекам, по серебряной, с прожилками темной стали, твердой бородке.

Доктор шевелился, а девушка застыла. Зимняя девушка, снежный мрамор. Укрыть бы ее досками, садовую статую, завалить старыми подушками и матрацами.

До ушей Лямина доносилось:

– Анатолий Карлович... Анатолий... Карлович... ну Анатолий же Карлович...

Сестра что-то важное силилась втолковать доктору, а он ее не слышал.

Стянул наконец перчатку, швырнул на паркет. Сестра наклонилась и безропотно подняла. И к сердцу прижала, как дорогое письмо.

Так шли меж коек, к выходу из белого, ледяного дворцового зала, превращенного в военный лазарет: впереди плачущий, как дитя, седобородый недорослый доктор, за ним длинноногая девушка в серой монастырской холщовой юбке и в белой косынке, тугой посмертной метелью обнимающей лицо.

Он окунулся в тяжкую вязкую тьму сна.

Долго барахтался в ней.

Сознание опять уплыло куда-то вдаль большой, с толстой спиной и огромной головой, белоглазой рыбой.

Долго ли спал, не знал. Зачем тут было что-то знать? Он ощущал: повсюду на нем – бинты, и весь он, перевязанный, охваченный ими, их выюжными витками, – плотный, будто дощатый, где плоский, как настеленный в бане сосновый пол, а где выпуклый, бревенчатый.

Тело обратилось в дерево. Если тихо лежать – не чувствуешь ничего.

И он лежал тихо.

И деревянные губы сами над собой смеялись: экое я полено, истопить мною печь.

...выплыл на поверхность зимнего мира. Ледяной мир все высил, угрюмо вздымал вокруг обтянутые белым коленкором стены. Ледяной век отсчитывал удары чужими женскими каблуками. Дрожал. Мерз. Уже колотился весь под одеялом, и не грело ни шута.

Коленки звенели чашка об чашку, и инеем изнутри покрывались кости.

Крючился. Спина выгибалась сама собою. С койки рядом донеслось напуганное:

– Эй, братец, чо, судорга скрутила?

И, будто из-под земли, из-под гладких медовых плашек паркета пробилось:

– А може, этта, у няво столбняк... грязь в рану забила, и кончен бал...

...и вдруг колотун этот кончился разом, – оборвался.

Лежал пластом. Тяжелело тело. Зад все глубже вдавливался в панцирную сетку и тощий матрац.

Все наливался, миг за мигом, расплавленным чугуном, все увеличивался в размерах. Стало страшно. Захотел позвать кого живого – глотка не отозвалась ни единым хрипом. Чугун-

ные губы мерзли: по дворцовому ледяному залу гулял ветер, шел стеной балтийский сквозняк из-под раскинутых, как бабьи ноги в минутной любви, метельных шторм.

Тяжесть давила, раздавливала внутри слепыми птенцами бьющиеся, горячие потроха.

Мишка напруг последние силенки и выдавил – в белую зимнюю ночь, в белую тьму:

– Сестра... воды...

Слушал тишину. Коленкор мерцал искрами выюги.

Огромные, до потолка, окна светились, сияли вечными, торжественными, довоенными фонарями.

Тихо. Все тихо умирало. И он тихо и верно, могильно тяжелея. И это, могло так быть запросто, подбиралась к его койке его смертушка и тяжело, поганой любовницей, ложилась на него поверх колючего лазаретного одеяла, вминалась в него.

В тишине застучали часы. Тук-тук, тик-тик. Он поздно понял, что это – не часы, каблук.

Туфли на каблуках. А может, сапожки на шнуровке, выше щиколотки.

Пахнуло сиренью. Зима спряталась за гардину. Метель забила в угол. Раненые стонали, жили, умирали. Над его койкой стояла сестра милосердия. Совсем молоденькая. Щечки румяные. Ручки-игрушечки. Она вертела в пальцах карандаш. Осторожно положила карандаш на табурет. Шагнула ближе и наклонилась над Ляминам.

Близко он увидел ее лицо. Лицо ее было слишком нежным, таким нежным бывает тесто на опаре, когда с него снимешь марлю и ткнешь его пальцем, проверяя на живость.

– Вы звали?

Ощутил на лбу ползанье сонной зимней бабочки.

Это ее рука водила ему по лбу, нежно, осторожно.

Он устыдился своего мокрого, липкого лба.

Глотка хрипела:

– Я... худо мне... сестрица...

Видел, как поднялась под серым штапелем, под белым холодным сестринским фартуком ее грудь. Она выпрямилась и вольно развела в стороны плечи, странно мощные, будто не девичьи, а бабьи, – так бабы распрямляются, устав махать косой, на жарком сенокосе.

– Лежите спокойно, солдат. Я сейчас.

Зацокали каблук. Он умалишенно считал про себя этот дальний, бальный цокот: раз, два, три, четыре, пять.

Приблизилась. В руке держала кружку за железное ухо.

Легко, невесомо присела на край его койки. И по нему полился пот, по всему телу, и терял чувство тела от слабости, стыда, блаженства.

Сестра поднесла кружку к его рту.

– Пейте... – так нежно сказала, будто бы губами – ржавую иголку из его губы вынула.

Подвела другую руку ему под затылок. Он чуял жар девичьей ладони. Кровь его дико и гулко стучала в обласканном затылке. Дышал, как загнанный конь. Сестринская ладонь чуть приподняла от подушки его железную, тяжкую голову, и он мог раскрыть рот и пить. Глотать – мог.

И глотал. Вода отдавала железом и железнодорожной гарью, была сначала чуть теплая, а на дне кружки, когда допивал, – ледяная.

Застонал, надавил затылком ей на ладонь. Она так же осторожно уложила его голову на подушку. Всмотривалась в него. Столько жалости и нежности он никогда не видал ни на чьем живом лице.

– Полегче вам?

Он ловил глазами ее глаза.

Вот сейчас уйдет. Встанет и уйдет.

– Да... благодарствую... водичка...

Она не расслышала, наклонилась к нему опять.

– Что?

– Знатная...

Два их лица изливали тепло друг на друга: он на нее – сумасшедшее, она не него – спокойное, ясное. Приблизилась еще. Лямин увидал хорошо, ясно: у нее синие глаза. Не голубые, как небо в ясный день, а именно что синие: густая синева, мощная, почти грозовая. И такие большие, как два чайных блюдца. А ресницы странным, старым золотом поблескивают. Ну точно чайники.

«Китай... Восток... дворянка, знать... блюдца, мать их, синий фарфор дулевский...»

Мысли в железной чашке черепа кто-то громадный, насмешливый размешивал золоченой ложечкой.

Поймал ее улыбку губами. Слишком близко вспорхнула, легко изловить.

Оба одновременно усмехнулись. Она – радостно: раненому полегчало! – он – ядовито: над собой, немощным, безумным.

– Ну вот и хорошо!

Вот сейчас встала, одернула фартук. Зачем-то разгладила белые обшлага штапельного форменного платья.

Белый милосердный плат, как монашеский апостольник, туго, крепко обтягивал ее лоб, щеки и подбородок. Щеки, и без того румяные, заалели ярче осенней калины.

Дотянулась до карандаша. Сунула его в карман фартука.

– Температуру измерим...

– Не надо. Хорошо уж мне.

Пот лился у него по лбу, стекал на подушку.

– Да вы же весь мокрый, солдат!

Опять провела рукой ему по лбу, по лицу. Сняла со спинки койки полотенце, отерла лоб. Опять улыбнулась. И стала серьезной. И больше уже не улыбалась.

– Это... пройдет...

– Лежите спокойно.

– Сейчас... ночь?

– Да. Ночь. Четыре часа утра.

– А почему орудия неприятеля... не стреляют?

– Потому что вы не на фронте, солдат. Вы в госпитале.

– А карандаш... вам зачем?

– Я письмо пишу. Солдат мне диктует, а я ему пишу. Ему домой. Он без руки.

Он закрыл глаза и открыл, так он сказал: да, я все понял, – говорить не мог, опять пропал голос. Видел красный крест, вышитый красным шелком, у нее на груди, на холщовом фартуке. Белый снег, и красная кровь, растеклась крестом. Да разве так бывает?

Красный крест поднимался и опускался – это она так дышала.

И это ровное частое дыхание вдруг успокоило, усыпило его. Он услышал далекую песню, потом далекий звон, будто церковный, а может, это звенели золотые фонарики на господской елке, куда пригласили накормить и одарить бедных детей; а может, это звенели хрустальные рюмки в холеных руках офицеров и граненые стаканы в грубых пальцах солдат – так они праздновали победу. Победа будет, сказал он себе, и веря и не веря, победа обязательно будет, мы победим врага. Мы русские, нас еще в жизни не бил никто! А где враг? Он оглядывался туда и сюда, глядел и вперед, и назад, и не было нигде врага, и он растерялся, но это было уже во сне.

И во сне ушла от его госпитальной жесткой койки синеглазая румяная девушка; сестринский плат у нее под подбородком, под горлом обратился в крестьянский, она шла в рубахе, и солнце палило ей широкие сильные плечи и голую, покрытую каплями пота шею; она отирала пот ладонью с шеи, со лба и весело смеялась, и он видел, какой у нее красивый рот и красивые

зубы. И далеко пели косцы яркую и развеселую, мощную песню, какие обычно поют мужики на сенокосе; и блестяли лезвия тяжелых литовок; и с легким шорохом валилась на истомленную жарой землю скошенная трава, и он, Мишка, тоже косил, размахиваясь косой широко, свободно, от плеча, – и румяной юной девушки уже было рядом не видать, но он чувствовал: она незаметно вошла куда-то внутрь него, под ребра, как детская тайная обида, как легкий солнечный запах свежескошенной нежной травы.

* * *

Он выздоровел. Выправился. Налился новой силой.

Пока молод – смерть не возьмет, сам над собой смеялся, и над смертью тоже.

Подлечили. Зашили. Где надо, срослось. Где не надо, побаливало. Плевать он на это хотел.

Снова попросился на фронт: а куда еще было возвращаться солдату?

Думал о доме. Ночью перед глазами вставала огромная родная река, широкие перекаты и больно блестящие на забытом мирном солнце плесы. Плынешь на лодке, ладишь удилище, руку в воду окунешь – рука как подлещик, а водичка желтенькая, насквозь солнцем просвеченная. И дно видно; и рыбы ходят медленно, важно.

«Волга, Волженька...»

Просьбу его исполнили. На фронт отправили.

Он себя спрашивал: Мишка, вот ты смерть понюхал, а сейчас ты смерти-то боишься или нет? – и ничего не мог сам себе на это ответить.

Война была все такая же. Отвратительная.

Его бы воля – он превратил бы ее в черную гадкую козьявку и раздавил бы сапогом.

«Сказочник ты, Мишка. Что плетешь. Чем прельщаешься».

...Они тут бились, а в тылу солдаты митинги затевали. Заморское словцо – митинг! Означает по-русски: буча, буза. После очередного сражения сутулились в окопах, вертели самокрутки, перевязывали раненых – все как обычно, тоска, кровь и хмарь, – как вдруг тяжело прыгнуло в окоп чье-то грузное, великое тело, один солдат упал, другой выругался, третий крикнул:

– Стой, кто идет!

На перемазанной роже великана отражался лютый, зверий восторг.

Он завопил, вздергивая кулаки над головой:

– Ребята! Солдаты! Кончай воевать! Кончилась война, в бога ее душеньку мать! Кончилась!

Вдали грохотали выстрелы, а в окопах грохотали солдатские насадные крики.

– Иди ты врать!

– Все! Толкую вам! Мир!

– Откудова знаешь?!

– Да Ленин в Петрограде уж почти всю власть забрал! Только что Зимний дворец с царями не взял! А так – все взял!

– Да нас тут офицеры расстреляют всех до единого, если мы в одночасье винтовки побросаем!

– Небось! Не убьют!

– Мир! Мир! Ну наконец-то!

– Бросай фронт! Бросай к чертям это все! Домой! Домой!

– Слышите, солдаты?! А ну как он врет все?!

– Домой! Домой!

– Землю нам! Хлеб нам! Все – нам! Во где уже господа сидят! Нахлебались!

- Хлеба! Мира! Ленин наш спаситель!
- Троцкому ура-а-а-а!
- Пошел к лешаку твой Троцкий!
- Ленину ура-а-а-а!
- Домо-о-о-ой!

Лямин вопил вместе со всеми: домо-о-о-ой! Перестал кричать. Слушал чужие крики. Топал рядом с чужими сапогами. Командир попытался остановить бегущих. Стрелял в воздух.

- Куда! Не сметь! Всех положу!
- Кончай командира! – орал солдат. – Кончай всех, кто против мира! Мир у нас! Мир!

Лямин видел и слышал – и глаза его не закрылись, и уши его никто не залепил воском, – как рубят и колют командира и других офицеров их же саблями и винтовочными штыками, как разрывают их на куски – так волки рвут свою добычу; как топчут ногами уже мертвые, изуродованные тела.

- Распускай роту! Солдаты, кидай оружие!
- Ком боли подкатил к горлу Лямина.
«За что сражались... за что же, черт, умирали?..»
Отвернулся от растерзанных тел. Тошнота подкатила.
«Как барышня... сейчас сблую...»

- Сдавай оружие, ну!
- Одни кричали одно, другие – другое. Кто-то уже приказывал: командовал.
«Свято командирское место пусто не бывает, ха. Быстро его... занимают...»

Ноздри раздувались, запах крови лишал ума.

Жалкая горстка солдат, верных идее войны до победного конца, императору и присяге, скучилась возле долговязого офицера. Молодой, а волосы белые. Поседел от ужаса враз?

- Сдавайся, господское рыло, слышь! Мы – уже власть!
- Вы не власть, – выцедил долговязый офицер. – Вы – мои подчиненные.

А у самого рот от страха дрожал; и к верхней губе прилип табак – после сраженья самокрутку курил, как простой солдат.

- Ах, подчиненные?! Три минуты тебе даем!

«Мы отнимаем оружие. А сами-то стоим с оружием. Против кого? Против – своих же? Русских людей? Против своей же, родной родовой – вот так же встанем?»

Далеко стреляли.

- «Сейчас и этим упрямам не жить. Но они же русские! Русские!»

- Они же... русские... наши...

Великан, тот, что поднял восстание в окопе, передернул затвор винтовки и волком зыркнул на Лямина.

- Наши?! Они враги наши! Они хотят, чтобы мы – тут сдохли, на войне!
- Что мелешь... как это – сдать оружие без боя...

Беловолосый долговязый офицер внезапно выпрямился, стал похож на сухую осиную жердь, и не своим, а каким-то подземным, утробным голосом крикнул, обернувшись к солдатам, его обступившим:

- Огонь!
- Солдаты выстрелили.
Свои солдаты – в своих же солдат.
Русские – в русских.

Раненые и убитые упали на землю. Хрипели. Царапали землю ногтями. Восставших было больше, чем верных. Ощетинился частокол штыков, сухо и зло затрещали выстрелы. Трещали до тех пор, пока все они, верные царю и отечеству, не полегли в грязь – и больше не шевелились.

- Ну что? Все патроны израсходовали, голуби?!

Солдаты стояли и глядели на дело рук своих.

И тут Лямин, сам от себя этого не ожидая, задиристо и жестко крикнул:

– Ребята! Айда все на Петроград!

Глотки обрадованно, счастливо подхватили безумный Мишкин крик.

– Да! Да! На Петроград!

– На вокзал, айдате на вокзал! Да любой поезд возьмем! Прикажем повернуть стрелку!

– На Питер! На Питер!

– Пять минут на сборы!

– А этих куда?!

– Русские люди ведь... христиане... похоронить бы...

– Хоронить врагов народа хочешь?! Не выйдет! Я лучше – тебя шас застрелю!

– Брось! Брось! Шучу!

– Шутки в сторону!

– Готовься шибчей, ребята, иначе в Питере все без нас произойдет!

– А может, уже произошло!

– Тем лучше! Поддержим революцию!

– Собирай котомки!

– Чо на этих подлецов зыришь?! Жалость взяла?! Враги они наши, говорят тебе!

– Правильно мы их ухряпали! Неча жалеть! Не баба!

– Они нас тут всех готовы были положить! В полях чужих... на чужой земле...

Лямин бодро, злым и широким шагом пошлепал вместе со всеми прочь от места, где свои убили своих; и, пройдя немного шагов, воровато оглянулся. Седой долговязый офицер лежал навзничь, лицом вверх, пули пробиты ему грудь и шею, и Лямин видел, как купается, плавает в крови убитого вынырнувший из-под сорочки крохотный, как воробьиная лапка, зелено-медный нательный крест.

* * *

– Стреляют?

– Да, бахнули!

– Все, пора...

...Фигуры железные и фигуры живые сгрудились вокруг дворца. Как отличить неживое от живого? Броневики молчат, как сонный бык, орудие на вечернем крейсере, отдав воздуху ядро, вздыхает медленно, как зверь, идущий на зимний тяжелый покой в белый лес. Ружья и пулеметы стреляют исправно. Внутри Зимнего дворца, то и дело приликая носом к холодному густо-синему, уже налитому пьяной ночью стеклу, человек благородного, барского вида строчит тусклым грифелем у себя в записной книжке: «Атака отбита. Никогда им не взять нас. Никогда им нас не победить! Не сломить Великую и Славную Россию!»

Его трусливое карандашное царапанье никто не видит, не слышит. Только Господь Бог. Но и в Его существовании теперь многие усомнились; если кто вдруг побожится, как раньше, его одернут: тише ты, не смейся, бога-то никакого нет на самом деле!

...Бог – он в фонаре живет. Он льет свет изнутри фонаря; и фонарь в холодной ночи – нежный, горячий. Жаль, высоко висит, а то бы руки погреть. Но уж если сильно замерзнут, тогда можно и костры на площади разжечь. Пламя затанцует! Грейся не хочу!

...Толпа то приникала к воротам, то откатывалась. Опять накатывала черным прибоем. Матросы гоготали, обнажая желтые волчьи клыки. Лямин терся меж душной многоглавой кучи солдат в истрепанных шинелях.

«У нас у всех шинелишки как у братьев родных. Как одна мама родила. Потертые, с дырами от пуль, в засохшей крови. И пахнут...»

Он не подобрал слова, чем пахнут. Рассмеялся. Фонарь выхватил из тьмы близкое лицо, небритое, синяя щетина торчала чуть не под глазами. Солдат что-то крикнул Лямину, да все гомонили будь здоров, он не расслышал. Качались взад-вперед. Отбегали; закуривали, чиркая толстыми спичками в погибельном фонарном свете. Сердце прыгало, на него давила тьма близкой ночи, и то, что должно было случиться в ночи.

Женские голоса сбивчиво кричали поодаль. Плакали, визжали, квохтали. Ему сказали – дворец защищает какой-то женский батальон; издали он видел, как восставшие солдаты закручивают несчастным бабам руки за спину. «Поделом вам; кого защищали? Царя, царишку!» Не думал о том, что недавно, идя на войну ополченцем, сам этому царишке присягал; думал о бабах, напяливших шинели, гадко, плохо.

«Курвы, и куда подались? Детей ведь иные побросали! Стервы».

Рядом кричали:

– Ананьина поймать и на фонарь!

Забабахало с Петропавловки.

Орудия палили, Лямин вздрагивал. Он стоял внутри людского плотного месива, он сам был комком непромешанного, потного теста. Выстрел за выстрелом, он не считал. Мазилы! Не попадают. Если б метко стреляли – этот дворец к едрене матери давно бы в кирпичи разнесли.

«А ведь я тут лежал. В лазарете. Тут! Это цари нам, солдатам раненым, свои бальные залы да кабинеты уступили!»

Желваки под скулами перекатились сухим горохом. Тот, с синей щетиной, орал радостно:

– Да крейсера с нами! На катерах – с нами! Да все в Гавани – с нами!

– Да все – с нами! – отвечали ему разноголосом, отовсюду.

– Они, братцы... только фасад охраняют! Там, сзади... дверки-то отворены!

Толпа качнулась назад и влево, потом вправо. Вдруг повернула, люди побежали нестройно, махая бешеными руками, кто смеясь, кто плюясь.

Нева черно, лаково блестела под жутким, диким светом поздних фонарей.

Накатывала наводнением полночь.

Они добежали до дверей, двери и точно были открыты. Вроде даже гостеприимно распахнуты.

– А нет ли тут подвоха?!

– Возьдем, а там гранатами нас ка-ак закидают!

– Да не, там под лестницей – юнкера сидят, в душу-мать, в штаны наклали...

...На лестнице стояли люди. Их встречали. Но люди не двигались, молчали; и страшно было это молчание, и безвыходно. Лямин подумал: а что, если они все отсюда и правда не выйдут? – а в это время от толпы отделилась странная кучка людей, будто кучка пчел, отжужжавших прочь от могучего роя. Люди-пчелы летели вверх по лестнице, в руках у них шуршали бумаги. Этими бумагами они тыкали в нос тем, кто стоял и молчал. И о чем то молчащих просили: страстно, доверительно, по-хорошему.

Молчали еще суше, еще злее.

И тут за спиной Лямина возник гул. Он еще не понял, что это за гул такой, а толпа поняла – и дико, восторженно закричала, радостно летели вверх бескозырки, папахи, ушанки, фуражки.

– Братцы! Братцы! Народ здесь!

– Народ наш! Вот царский дворец, ядрена корень! Вот! Он теперь – твой!

Целовались. Сквернословили. Подымали кулаки. Тузили друг друга по плечам, по спине. Молодые парни с красными лентами в петлицах, старые седые мужики в разношенных сапогах – в них воевали, в них же и сеяли-косили, – не стыдясь, плакали.

А потом все враз опять орало.

Потекли по лестницам и коридорам, втекали в залы, стремились наверх, рушились в подвалы, здесь, во дворце, не было ни огня, ни штыков, ни крови, – а рано радоваться было, откуда ни возмись вывалились безусые юнцы, и винтовки прикладом к плечу, а лица бледные, и дрожат.

«Юнкера, мать их! Мы их... сейчас... как червей лопатой, перешибем...»

Юнкера успели дать только один залп. Толпа навалилась, подмяла юнцов под себя, скрутила, смяла, повалила, разбивала мальчикам лица сапогами, коленями, резала ножами, колола штыками.

– Царя защищали?!

– Где он теперь, ваш царь?!

Лямин оттаскивал от трупа юнкера того, с синей щетиной: в сумасшествии синешеккий плясал на погибшем, давил ногами его лицо, кровь брызгала на сапоги, нос вминался в череп.

– Тихо, тихо... ну что ты бушуешь... охолонь...

Синешеккий солдат обернулся, ощерясь.

– Не могу! – Бил себя кулаком в суконную грудь. – Ну ты понимаешь, друг, не могу! Все-то жизнешку мы кланялись! всю-то судьбишку – горбились! А тут! Головы подняли! Хребты разогнули! Видеть стали... чуют! Что к чему, чуют! Где – правда!

– Правда – да, – бормотал Лямин, таща синешеккого за рукав, – но не надо так... Плясать-то на мертвой роже – зачем...

Поодаль вопили:

– Бомбу! Взрывай бомбу!

Тащили бомбу; Лямин видел, как ее, чуть приседая, несут четверо.

– Взрывай царей! Взрывай министров!

– Где они прячутся?! Показывай!

Вели новых юнкеров, еще живых. Они не стояли, а вздрагивали, будто на ветвях свинцовым морозом схваченные: синицы, сойки, снегири. Воробьишки, час последний. У них были уже мертвые лица, а живые глаза плакали.

– Где владыки?! Подорвем их зады к ядрене матери!

– Быстро говори!

Били кулаками в бледные лица. Били по щекам. Одному юнкеру выстрелили в лоб, и он не упал – его крепко держал синешеккий. Мертвая кукла болталась в руках живой куклы, а живую куклу за нитки света держала и дергала громадная люстра – там, в невероятной выси.

– Вы! Суслики! Ваши начальники сдались! Что ждете?! Конфеток?!

Пахло кровью, мастикой навощенного паркета и порохом.

То там, то сям внутри толпы рождался глухой вой. Вой взмывал, поднимал на головах волосы запоздалым ужасом, веселил, зажигал голодное нутро. Вой был и разбойный, и святой, и его нельзя было унять. Он так же быстро гас, как возникал.

Расстреливая, ударяя, хохоча, воя, толпа ринулась вперед, рассыпалась, разваливалась кусками ржаного волглого хлеба и слеплялась опять, шарилась в шкафах, сдергивала со стен полотна, наклонялась над холстами и выкалывала ножами глаза у старинных людей на блестящих медом и перламутром портретах; скалила зубы перед зеркалами, а потом срывала их с гвоздей и волокла за собой; засовывала за пазухи царское столовое серебро; закручивала в рулоны простыни и пододеяльники, обшитые тончайшим кружевом; рассовывала по карманам часы и брегеты; сначала била вазы мейссенского фарфора, чашки Гарднера и Кузнецова, а потом, любуясь, цокая языками, – под мышку, за пазуху, в карман, в суму.

Толпа плохо понимала, что делает: она жадно срывала и срезала драгоценную телячью кожу с сидений кресел, со спинок диванов, колола штыками живопись, что везли из Амстердама, Рима и Венеции; она топтала иконы и рвала книги, разбрасывая страницы по цветному паркету, и, если бы захотела вдруг остановиться, она бы не смогла. Штыки разбивали вдребезги

ящички с пасхальными яйцами француза Фаберже. Штыки выламывали плашки из паркета. Над штыками горели лица – у толпы было одно лицо со многими глазами и многими ртами, и изо ртов рвался лишь один крик.

А штыки, это были всего лишь зубы толпы. Ее острые и справедливые зубы.

– Взорва-а-а-а-ать!

Лямин не хотел смотреть, как убьют министров. «А все равно убьют, как ни крути. Все равно». Толпа разделилась. Он бежал вместе с людьми вниз. Все вниз и вниз.

– В подвал мы, что ли?!

Ему не отвечали: хохотали.

Дивный неведомый аромат ударил в нос. Он видел перед собой комнаты под сводами, двери распахнуты, внутри бочонки и бутылки, очень много: ряды, роты, батальоны бутылок. На иных бочонках – краны. Лямин впервые в жизни наблюдал винный погреб. Солдаты, расстреляв охрану погреба, уже радостно высасывали вино из горла, подбрасывали пустые бутылки в ладонях. С лязгом, похожим на женский визг, разбивали их об пол – с размаху.

– Будьте вы прокляты! Гас-па-да-а-а-а!

Били бутылки уже пьяно, дико, щедро, не жалея. Вино текло пузырящейся красной рекой. Обтекало сапоги Лямина. Он тарашился, потом наклонился, окунал пальцы в красное, неистово пахучее. Лизал пальцы, как кот лапу.

– Эх, теки-теки, наша кровушка!

– А куда стячь-то? В Няву, по всяму видать?

– В Неву так в Неву! Пусть народ из реки винца попьет! С бережку!

Лямин вертел в руках бутылку. Шурился. Поднял ее повыше и полоснул ей по горлу, как живой бабе, штыком. Стекло отлетело. Он закинул голову и, держа отбитое горлышко ровно над галчино раскрытым ртом, вливал в себя, с алым вкусным бульканьем, царское столетнее вино.

И не пьянел.

...Над головой, выше этажом, вспыхивали и гасли ужасные крики. Крик сначала рождался из тишины – выбухом, взрывом; потом разрастался, заливал собою все вышнее пространство – залы, зальчики, закутки; потом превращался в долгий дикий вой – будто собака посмертно выла над трупом, – и истаивал, затихал и обрывался гнилой ниткой.

– Юнкеришек мучат, – бородатый мужик подворотного вида, с гноющимся глазом, придирчиво выбрал бутылку из темно-красного стеклянного строя, откупорил и влил в себя крупный, жадный глоток. – И верно делают. Собачьи дети! Отродья буржуйские!

Лямину отчего-то, на краткий странный миг, стало жалко юнкеров.

– Отродья, да, – сказал, – да все ж русские люди.

Опять закинул башку и перевернул зазубрины отбитого горлышка надо ртом.

Глотал вино, как воду.

Мужик тоже хлебнул, ладонью утерся.

– Ах! Хорошо. Вот она, господская жисть-то!

Оба хохотали весело.

– А коньяк тут есть? В этих закромах?

Нагибались, пробирались между бочонков, искали коньяк.

Наверху, между мужскими воплями, появились дикие женские крики.

– А это еще что такое? – Мужик, с янтарной бутылкой в руке, воззрился на Лямина. – Бабенки? Откуда?

– Сам не знаю.

Михаил вылил в рот сладкие, пахучие остатки.

Мужик вертел в руках бутылку.

– Желтый, значит, он. По-ненашему написано! Ну да все один черт. Вкусно, да. Хоть бы хлебца кусочек! Без закуски – брат, быстро свалимся.

Крики чередовались, мужские и бабы. Лямин и все, кто густо толкся в винном погребе, были вынуждены их слушать. И слушали. И пили. Пили, чтобы слышать – перестать.

Но крики не утихали. Ввинчивались в уши стальными винтами. Насквозь прорезали мозг.

...Он, шатаясь, поднимался по лестнице. Думал – взбегает, а на деле шел, нетвердо ставя чугунные ноги, цепляясь железными пальцами за перила. Отчего-то стал мерзнуть, мелко трястись. Дошел до блестящего паркета, чуть на нем не растянулся. Сам себе засмеялся, держался за перила, – дышал тяжело и часто, отдышал.

– Надрался, – сам себе весело сказал, – ну да это быстро пройдет. Винишко... не могучее.

То идя на удивление прямо, как на параде, то вдруг валясь от стены к стене, шел по коридору, и глаза глупо ловили роскошь – виток позолоты, белую виноградную гроздь лепнины, лепные тарелки и цветы по высоким стенам. Задирать голову боялся: на цветную роспись на потолке глянет – и сейчас упадет. А надо стоять, надо идти.

Куда? По коридорам шастали люди. Они то бежали, то собирались в гомонящие кучи, то, как он, пьяно качались. Людями был полон дворец; и дворец и люди были слишком чужеродные. Люди были дворцу не нужны, и дворец был людям не нужен. Жить они бы тут все равно не смогли, а разграбить его – нужен не то чтобы полк, а вся армия.

Под ладонью возникла слишком гладкая белая, с лепниной, высокая дверь, и Лямин в бессознании толкнул ее. Замер на пороге.

Мелькнули чьи-то белые, раскинутые ноги; чьи-то сброшенные сапоги; шевеленье суконных задов; торчали штыки, валились картины со стен, на нарисованные лица наступали сапогом. Люди возились и копошились, а под людьми дергались и кричали еще люди; Лямин с трудом понял, что они все тут делают. Когда понял – попятился.

Дверь еще открыта была, и слышать было хорошо, что люди кричали.

– Нажми, нажми!

– Крепче веселись, крепче!

– Ах яти ж твою! Сла-а-а-адко!

– Пасть ей – исподним заткни!

Лямин пятился, пятился, пятился, наступал сапогами на паркет нетвердо. потрясенно.

А отойдя, криво улыбнулся. Захотелось хохотать во весь голос, во весь рот. Что, он мужиков не знает? Или такого вовек не видал? Сам мужик.

«Они просто... берут свое... а что теряться...»

Откуда тут бабы, и сам не знал. Мало ли откуда.

Может, горничные какие в складках гардин спрятались; может, фрейлины какие в перинах, под пуховыми одеялами запоздало тряслись.

«Какие фрейлины... правительство тут сидит... да, а министры-то где?»

Перестал думать о министрах в тот же миг.

...По коридору уже не шел – валился вперед. Туловище опережало, ноги сзади оставались.

Чуть не упал через тело, что валялось у входа в зал, сияющий зелеными, болотными малахитами. Сапогом зацепился, а рукой успел за выгиб лепнины на стене ухватиться.

«Черт... расквасил бы нос, хребет бы сломал...»

Хотел обойти мертвеца – да что-то остановило.

Волосы. Длинные русые волосы. Они лежали на паркете длинной грязной тряпкой.

Неподалеку, мертвым барсуком, валялся сапог.

Лямин сел на корточки, не удержался и повалился назад. Сидел на полу, ловил воздух винным ртом.

Мертвая ладонь разжата. Около ладони – черный квадрат и длинный черный ствол маузера.

Висок в крови, а веки чуть приподняты, будто еще жива, будто смотрит.

Лямин рассматривал бабу. Расстегнутая шинель. Немолодое круглое, отечное лицо. Перевел глаза с ее груди на живот. Тряпки растерзаны, и плоть растерзана: порезана, избита, измята. Голизна сквозь бязь исподнего белья просвечивает дико, красно.

– Ах ты человек, зверь, – выдохнул Лямин изумленно, – ах ты сучонок, тварь... Что сделали...

Себя на их месте вообразил. Затряс головой.

«А маузер надо взять. Пригодится».

Подполз по паркету ближе к неподвижной руке и скрюченными пальцами подволок к себе пистолет.

Кряхтя, вставал с полу, нелепо упираясь ладонями в паркетные, скользкие от крови плашки; наконец ему это удалось.

Русая баба лежала так же мертво, в охвостьях окровавленного белья.

...За окнами стреляли. Потом наступала холодная черная тишина. Потом опять стреляли. И снова тишина. А в тишине – женские вскрики.

«Да язвы их... что тут, бабы одни в шинелях собрались, что ли...»

До него позднею дошло: женский батальон разоружают, а то и расстреливают.

«Какие бабы вояки... куда прутся-то...»

Подвалил к окну. Упирался кулаками в подоконник. Коридор был темен, темнее пещеры, и хорошо было видно, что творится на улице. Бабенки кто лежал на земле, подтягивая к брюху винтовку, кто валялся уже недвижно, кто сховался, сторбился за горою ящиков из-под вина и за сломанными раскладушками, вышвырнутыми из недавних госпитальных залов. Матросы, люди в кожанках, солдаты в шинелях и странные мужики в трущобных лохмотьях, как заводные куклы, бегали вокруг еще живых баб и разоружали их.

Лямин слышал людские крики. Они бабочками бились в холодное стекло. И не могли разбить, и внутрь не залетали. Он растер себе лицо ладонями и почуял ноздрями запах крови. Посмотрел на свои руки. Кровью испятнаны.

«А может, это красное вино! Может... не может...»

Глядел сверху вниз из одинокого окна, как большевики ведут арестованный бабий батальон, походя пиная трупы; как кулаками и прикладами мужики бьют баб в лицо. Одной своротили кулаком челюсть, она стояла, согнувшись, и кричала. Ее крик был похож на мяуканье большой кошки.

«А кто ж дворец-то этот поганый защищал?.. Юнкера да бабы?..»

Думать было трудно, непосильно. За окном черной сталью блестела Нева. Около моста расхаживали красногвардейцы.

«Мост... стерегут...»

Лямин оторвал руки от подоконника и пошел по коридору. Он думал, что идет прямо и правильно. Ноги почти не заплетались. Сапоги назад не тянули. Под сапогами оказался сахарный мрамор лестницы, Лямин плотнее прижался к перилам и по лестнице сползал, чуя противную богатую гладкость перил под шершавой наждачной ладонью.

Вывалился на улицу, в ночь. Одинокие выстрелы звучали то там, то сям. Рядом затопали сапоги. Он медленно повернулся. Мимо него шел солдат в шинели. Плечи широкие. А худощавый. За плечами винтовка старого образца – еще, может, времен войны с турками.

– Эй! Курнуть есть?

Солдат остановился. Лицо солдата, скуластое, безбородое, испугало Лямина жесткостью губ и железом желваков. А взгляд – тот прямо отливало беспощадным металлом.

«Злая какая рожа, прости Господи...»

– Есть.

Голос у солдата нежный, юный. Тенорок.

«Не идет его голосишко... к его злому виду...»

Солдат вытащил из кармана пачку папирос.

«Та-ры-ба-ры... а, это неплохие...»

Расколупал в пачке дырку.

Молча протянул Лямину.

Лямин тащил папиросу, как тащат из земли дерево. Вытащил и, качая языком во рту, попросил:

– А это, солдатик... можно еще одну?

– Тащи.

Солдат смотрел, как Лямин копошится грязными пьяными пальцами в пачке; потом отвернулся к мосту. Держал папиросы в вытянутой руке.

Маленькие пальцы крепко сжимали початую пачку.

Река черно блестела, тусклым медом сочился и капал фонарный свет. Вот выстрелили далеко. Вот стрельнули близко. И опять тишина.

– Спасибо... дружище...

Зажал папиросу в зубах. Улыбался.

Нашарил в кармане коробку спичек, чиркнул одной – сгасла, чиркнул другой – сгасла, третья вспыхнула, он, держа папиросу в зубах, поднес огонь к лицу, и он обжег ему пальцы и губы.

Вскинул лицо, солдат обернул свое, и Лямина льдом обожгли его глаза – круглые, большие, как у бабы, светло-серые, он смотрел ими так холодно и надменно, будто бы он был никакой не солдатишко, а сам царь; смотрел прямо, не моргая, залезая зрачками в ночную, облитую сегодняшней кровью и истыканную сегодняшними штыками, душу Лямина.

– Ты, солдат!.. чо глядишь?.. Я чо, не нравлюсь?.. не, я не пьяный...

Втягивал дым, наслаждался. Трезвел.

Серые глаза прошлись вдоль по Лямину, ото лба до носков сапог, солдат повернулся жестко и быстро и пошагал прочь, на ходу засовывая пачку вкусных папирос «Тары-бары» в глубокий, как ад, карман шинели.

* * *

Толпа дышала, шевелилась и двигалась.

Многоголовый и пестрый человеческий ковер то сжимался в гармошку и сминался, то растекался и вздрагивал. Белые толстые колонны зала блестели, будто кто их чисто вымыл и покрыл лаком. С балконов люди свешивались гнилыми изюмными гроздьями. Ружейные штыки там и сям блестели, как дикие елочные игрушки, и внезапно вся толпа становилась черной живой, колючей елкой.

«Опадут эти иголки, опадут».

Лямин, в шинели и фуражке, не сидел – стоял. Ему не досталось места. Да стоял он в плотной, жаркой толпе, и пахло потом и порохом, и толпа качалась, будто все они плыли в одной тесной лодке, а море плескалось вокруг бурное, и они вот-вот потонут.

Он глядел на деревянный ящик трибуны. Сейчас наверх ящика кто-то живой и умный должен взобраться, и оттуда речь говорить.

«Кто? Ленин? Троцкий? Свердлов?»

Вся страна знала имена этих большевистских предводителей; и он тоже знал.

И глазами, и щеками, и затылком – видел, ощущал: да здесь вся страна собралась.

«Отовсюду люди, отовсюду! И как только добрались. Кто в вагонах, кто пешком... кто – на лошадках...»

Оглядывался. Пухлые, с прищуром, рожи, а под теплой курткой – рубаха-вышиванка. С Полтавы, с Херсона, с Киева. Не уголодались там, на Украине, на сале разъелись. Квадратные скулы латышей и литвинов. Чухонцы с серыми, паклей, волосами из-под серых кепок, с мышиными и жесткими глазами, глядят напряженно и недоверчиво. Люди в черных папахах – может, казаки терские, а может, и чечены, и осетины, и грузины: черт их разберет, виноградный, овечий Кавказ. А вон в полосатых халатах, а поверх халатов – распахнутые бурки: эти – узбеки, таджики.

«Далеконько ехали, косорылые. А ведь прибыли! Молодчики».

Разноязыкая речь слышалась. Вспыхивали гортанные смешки. Четко, ледяно цедились странные слова. Русский мат вдруг все перебивал. И смех. Взрывался и гас, оседал на грязный пол, под топот сапог, лаптей, ичигов, башмаков.

А потом наступала внезапная, на миг, странная и страшная тишина.

И опять все начинало двигаться, бурлить, хохотать, орать.

Матросы поправляли на груди пулеметные ленты, подкручивали усы, солдаты глядели угрюмое, непрерывно курили, сизые хвосты дыма вились и таяли над головами. Все сильнее, нестерпимее пахло потом, и запах этот напомнил Лямину окопы. Он стащил с головы фуражку и крепко, зло взъерошил рыжие волосы.

«Рыжий я, красный. Воистину красный!» Усмехнулся сам себе.

Каждый говорил и не слышал себя, каждый стремился что-то важное высказать соседу, да даже и не соседу, а – этому спертому воздуху, этим колоннам белым, гладким, ледяным. Этому потолку – и было сладкое и страшное чувство, что он вот-вот обвалится, – этой громадной люстре над головами: люстра плыла под известкой потолка и лепнинами, будто остров, что вчера был прочной землей, а теперь несут его черные, темные воды непонятно куда. Все орали и гомонили, и кое-кто иногда вскрикивал, пытаясь перекричать толпу: «Тише! Тише, товарищи!» – но куда там, люди освободили век молчащие глотки, пытаясь через них вытолкнуть наружу сердца.

На Лямина глядели – кто весело, кто пристально, кто нагло. Рассматривали его, будто он был диковинная птица или жук под лупой.

«Рыжина им моя не по нраву. А может, по нраву, кто их знает».

Толпа качнулась раз, другой – и внезапно утихла. Люди двигались к сцене. Кургузые пиджачки, костюмы-тройки, засаленные жилетки, пыльные штиблеты. Шли быстро, и толпа образовала внутри себя пустоту, чтобы эти люди куда-то быстро, поспешно и нервно пройти могли. И они шли, почти бежали – один за другим, один другому глядя в затылок, а кто и себе под ноги, чтобы не споткнуться.

Люди были лысые и с шевелюрами, один в очках, другой в пенсне; Михаил шарил глазами, искал среди них Ленина, но уже затылки, папахи и бескозырки толпы закрыли идущих по дымному, среди шевелящихся курток, бушлатов, сапог и шинелей, проходу, толпа опять сомкнулась, и гомон утихал, и тишина напозала из-за белых снеговых колонн, из углов – неотвратно и опасно, и после шума от тишины уши болели.

Михаил задрал подбородок и вытянул шею, чтобы лучше видеть поверх голов – и тут зал превратился в один гудящий каменный короб, а потом этот короб выстрелил таким громовым «ура-а-а-а!», что Михаил закрыл ладонями уши и засмеялся, а потом и сам набрал в грудь побольше дымного и потного воздуха и тоже залиvisto, широко крикнул:

– Ура-а-а-а-а!

«Как в атаку бежим. Будто в атаку я полк – поднял».

Да все тут так орали; все тут друг друга в атаку поднимали, в новую атаку – на старый, поганый, змеиный мир, а он еще шевелился, еще стонал и полз под крепкими мужицкими, рабочими, матросскими ногами. Под солдатскими грязными, разношенными сапогами.

Под его – сапогами.

– Ура-а-а-а-а-а! – длинно, нескончаемо кричал Мишка, и в его груди поднималась огромная, больше этого зала, жаркая, то темная, то сияющая волна, кровь прилиwała к его голове, глаза в восторге вылезали из орбит, и ему казалось, что его больше нет, а есть только огромное дыхание великой толпы, и есть эти люди, что там, высоко, на трибуне: это они все это совершили, а толпа им только помогла.

«Толпа! Не толпа это – народ! Это народ! Мой народ!»

Вопя свое «ура-а-а-а-а», он оглядывался, шарил глазами по глазам, лбам, усам, бородам, корявым, в мозолях, рукам, умеющим и соху верно схватить, и борозду твердо вести, и со станком управиться, не покалечившись, и из пулемета врага положить, – это был народ, его народ, и он – ему – принадлежал.

Ему, а не тем, кто стоял на трибуне; хотя те, кто стоял на трибуне, эти скромные, невзрачные люди с портфельчиками, кто в очках, кто в пенсне, – тоже ведь были – народ. А может, не народ?

Разбираться было некогда. Они все сейчас были одно. И лишь одному этому, тому, что они все вдруг сделались, пускай на миг – наплевать! – одно, и стоило кричать бесконечное «ура-а-а-а-а!».

И вдруг будто грозный дирижер махнул рукой, и они все, орущий народ, стихли, как послушный оркестр. На трибуну поднимался человек – один из этих, невзрачных. Этот был без очков. Невысокий. Коренастый. Огромная его голова торчала чуть вперед, выдвигалась над туловищем, словно он ею разрезал воздух, как воду – плыл. Огромная лысина, во всю голову, лаково, слоновой костью, блестела – точно как белые колонны по ободу зала. Он взобрался на трибуну, и молчащая толпа стала его разглядывать. Жадно, задыхаясь, будто напоследок; будто сейчас его кто-то, тихо стоящий в зале, возьмет на мушку – и метко выстрелит в него.

Маленького роста. И глазки маленькие. Или он их так неистово щурит? Маленький, кукольный, и ручки маленькие – вот он схватился ими за края трибуны, будто боится упасть. Лысая башка словно вдвинута в грудь – шеи вроде бы нет, голова прямо из торса растет, – нос большой, и рот большой: рот, что привык орать – с трибун, с балконов, с грузовиков, с броневиков, с палуб восставших крейсеров, с детских ледяных горок, с дощатых запыленных, заваленных окурками сцен театров, превращенных в нужники, с амвонов церквей, обращенных в конюшни. Бритый подбородок. Бородка уже чуть проступает. Подбородок тяжелый, властный. Слишком тяжелый для такого маленького тельца.

«Костюмчик ношенный... Локотки потерты... Жены у него, что ли, нет, чтобы – пиджачишко почистила? И брюки-то... по пяткам бьют...»

Лысый человек стоял, крепко держался за края трибуны, медленно поворачивая гладкую голову туда, сюда, щурился, разглядывая – кто там, в толпе, что это за делегаты приехали на съезд, и можно ли этой толпе верить, и не сметет ли она его, не снесет ли с трибуны, как снесла с тронов и кресел власть, что сидела на этих тронах и в этих креслах до него.

Михаил глядел на Ленина, и ему казалось – Ленин глядит на него. На него одного.

Усы лысого человека дрогнули, он раскрыл рот и громко, хорошо поставленным ораторским тенором, чуть вздернув свой тяжелый подбородок, выбросил в зал коротко и мощно:

– Тепей, товайищи, паа пьиступить к стьобительству... – Сделал паузу. – Социалистического поядка!

Гул, гром накатил, все подмял под себя, поглотил – зал, лысого человечка, колонны, балконы и балюстрады, пробил крышу, вылетел наружу. Хлопали и кричали долго. Так долго,

что у Лямина заболели ладони. Он перестал аплодировать и подул на ладоши – они светили в полутьме красно, малиново.

«Руки-то в кровь все разбивают, вот какая любовь».

Озирался. Изнутри распирала гордость и тревога. Тревога пересилила. А может, тут, в зале, сейчас возьмут – да бомбу взорвут?

Лысый человек, вцепившись в дерево трибуны, резко наклонился вперед. Лысина сверкнула под лучами люстры. Люстру все сильнее, гуще заволакивало табачным дымом. Люди слушали. Ленин разевал рот широко, шире варежки, будто хотел кого-то хищного, коварного взять да проглотить. Речь его лилась гладко, без сучка без задоринки; он то взмывал голосом вверх, то ронял его вниз, и тогда толпа затихала еще больше и старательно прислушивалась – было слышно вокруг Лямина хриплое, сиплое дыхание, музыка прокуренных легких.

«А, это и сам я так громко дышу. Простыл, что ли?»

Слова излетали из Ленина прямые, простые, правильные, и с каждым из его слов можно было согласиться, и народ вокруг кивал, вертел головами, поднимал вверх, над плечами, тяжелые кулаки, одобряя все, что говорит вождь. А дым стучался, и тревога стучалась, становилась терпкой, жгла под языком, сильно стучала внутри, била поперек ребер, звоном заглушая сердце.

«А что это я весь колыхаюсь? Точно, застудился, едриться-мыться...»

Люди глядели вверх, на трибуну, с восторгом. На щетинистых, бородатых, скуластых, раскосых, щербатых, беззубых, табачных, желтых от голода лицах были размашисто и крупно, резкими широкими мазками, написаны, в кои-то веки, счастье и яркая любовь.

«Обожает народ его! Так-то!»

И правда, на трибуне стоял – бог. Новый красный бог, и, наверное, новый царь.

«Прежнего царя скинули... Николашку... а это – царь Владимир... Вла-ди-мир... Вла-деющий миром, точно...»

Слова текли и настигали, от слов нельзя было укрыться, от ровного, уверенного, картавого голоса, что говорил аккуратно все то, что с каждым в зале – доподлинно происходило.

Страна и время были в каждом. Тот, кто постоял хоть минуту в этом торжественном зале, среди господских ненавистных белых колонн, это почувствовал, это понял и навсегда запомнил.

«Мы – народ. Здесь – народ! Все это сделал народ! Революцию! Мы сами это сделали! Мы! Все, кто здесь! Сами! Для всех! Насовсем! Навечно!»

Что-то произошло с толпой. Люди пригнулись, придвинулись ближе друг к другу. Сидящие – встали. Скрипели кресла. Качалась тусклая громадная люстра. Дыхания сливались воедино. Все верили словам лысого человека. Себе – не верили, а ему – верили.

Толпа выпрямилась, всякий стоял гордо, и из каждой глотки уже доносилось, с каждых губ слетало и летело в зал, к президиуму и трибунам, к отчаянной и светлой люстре это светлое и давнее, эта светлая, яркая, красная песня, могучая, как красная, напитанная кровью, морская волна, дикая и строгая, как сильная, единственная молитва:

*– Вставай, проклятьем заклеименный,
Весь мир голодных и рабов!
Кипит наш разум возмущенный
И в смертный бой вести готов!*

«Мы прокляты?! Мы – нищие, низшие?! Червяки мы, что копошились у вас под ногами?! Ах, шейки ваши в жемчугах... А наши дети – будут богатыми, как вы! Будут учеными, как вы! Будут – миром владеть, вот что! Вот как!»

*– Весь мир насилья мы разрушим...
До основанья... а затем...
Мы наш, мы новый мир построим!
Кто был ничем – тот станет всем!*

Михаил пел вместе со всеми, со всем восторженным народом, не пел – орал возбужденно, и, сняв фуражку, отирал потный лоб. Веснушки на его носу обозначились резче – от волнения, от радости. Кровь прилиwała к щекам и отливала опять. Душно было в переполненном, как тесный улей роями, зале.

Рядом с ним, разевая рот старательно и страшно, блестя желтыми прокуренными зубами, пел низкорослый солдат в белой овечьей грязной папахе; потом папаху сдернул и ею вытер лицо. Продолжая петь, обернулся к Михаилу и ему подмигнул.

И Лямину ничего не оставалось, как подмигнуть ему в ответ.

Сзади Лямина стоял и пел еще один солдат. Худощавый, поясом туго в талии перетянутый. У солдата сверкали светло-серые, двумя сколами кварца, жесткие глаза. Строго выпрямив спину, солдат стоял и пел, глядя в рыжий затылок Лямину:

*– Это есть наш последний
И решительный бой!
С Интер-на-циона-лом
Воспрянет род людской!*

Народ, в самозабвении, в ярости и морозе восторга: свершилось! мы – владыки России! мы, народ, а не вы, жадные цари, помещики, заводчики и жандармы! – пел скорбный и гордый гимн, он ломал оконные стекла, подламывал колонны, вырывался в открытые форточки, летел на улицу, обнимал деревья, сбивал с ног прохожих, разливался под ногами людей красным потоком, красно и люто стекал в Неву, опять взлетал – и улетал, освобожденный от сердец и глоток, в ветер, в небо.

* * *

... А колеса все стучали, и они уже потеряли счет времени – сколько дней и ночей, сколько недель они трясутся в этом поезде, сколько народу уже вышло и вошло в вагоны, то душные, то ледяные, – а они все едут и едут, и он все глядит и глядит на эту странную то ли девку, то ли бабу, то ли солдата, а однажды ночью она помстилась ему старухой – так упал на нее из окна свет станционного фонаря, – и ведет с ней разговоры, и ест с ней и пьет, и опять балакает о том, о сем, и она сначала дичится, потом все живее и живей отвечает ему.

И вот уже оба смеются. И вот уже оба ищут рук друг друга.

Долго ли, дело молодое.

А кругом народ, и не поцелуешься тут, не помилуешься. Не говоря о чем другом.

А другого – хочется, терпежу нет; и Мишка видит, как на бабу в шинели заглядываются с верхних и нижних полок, и грызет его кишки червь злобы и гнева, огненный червь, и иной раз, под стук колес, ему видится, как они оба, на багажной, под потолком, полке обнимаются так крепко, что дух вон, а то чудится, что он склоняется найти ее губы, а она залепляет ему со всего размаху знатную оплеуху.

«Никакой жизни нет... с этой войной, революцией...»

Это все ночью блазнится. А когда день – сидят чинно друг против друга, беседуют, и ему неважно, что едят – на станциях долго стоит состав, Пашка выбегает, хозяйственно, ловко покупает у торговки вареную картошку, посыпанную резаной черемшой, моченые яблоки, пироги с тайменем, а то и с жирным чиром, – это они уже едут по Сибири, и Пашка жадно

глядит в окошко, и следит глазами распадки, увалы, заимки посреди тайги, – и шепчет: «Родненькая... родненькая моя...»

Мишка стеснялся спросить, кто такая эта родненькая.

А потом сам догадался: земля это, ее родина.

Закрывал глаза. Жигули свои вспоминал. Волгу.

Увидит ли когда? Так же ли шепнет Волге: «Родненькая...»

«Конечно, увижу. Когда лучшую жизнь отвоюем – и заново все построим. Кто был ничем, тот станет всем!»

– Пашка! Скоро ли Тюмень?

– А я почему знаю?

Когда глядел в ее лицо – смутно вспоминал питерскую страшную ночь, позолоченную лепнину Зимнего дворца, винные ручки в погребках, черный металлический сверк Невы. И кружевной чугун моста. И запах табака, едкого дешевого дыма, ножами режущего ноздри и легкие.

«Что я... зачем Петроград... к чему еще эти сны... все правильно мы сделали, рабочие, солдаты, моряки... все – верно... вернее некуда...»

Небо распахивалось серыми женскими глазами, серое, холодное, лукавое, казнящее. Поезд подходил к Тюмени, и опять это оказывалась другая станция.

И так они ехали вечно, и рельсы мотались солеными селедками перед черной собачьей мордой паровоза, и дышали они дымом и гарью, и легкие у них чернели, и умыться было неоткуда и негде, и на станциях Пашка приносила в горсти снег: он таял, она умывала талым снегом себе лицо, ее щеки румянились, и этими мокрыми руками она проводила по небритым Мишкиным щекам, хохоча, будто ее щекотали, – а потом враз, сурово и мрачно и надолго, умолкала.

Глава вторая

«А когда я ехал с ямищиком, то после боя я был сильно утомился, потому что я не спал трое суток, а когда меня вез ямищик, то я лег и наказал ямищику, чтобы он не доезжал до деревни Беловой километр, чтобы меня разбудить. Но когда я заснул, то ямищик был кулак и он меня привез к белым, вместо того чтобы разбудить. И в этот момент сонного меня обезоружили и давай меня бить, издеваться. Били меня до бессознания, я не помню, вдавили мне два ребра, сломали мне нос, а когда дали мне опомниться, то дали мне лопату и заставили меня рыть себе могилу тут же на месте. Но остальная сволочь кричит: „Здесь его не убивайте, а вывезти на могилу“. Но мое пролетарское упорство: я с места ни шагу, и говоря: „Если вам, гады, нужно, то расстреливайте на месте.“ В этот момент вдруг является молодой человек лет двадцати что ли двух и предложил меня отпустить, который сказал, что Прокудин в этом не виновен, он был поставлен властью и его пустить во все четыре стороны и пусть идет. Да еще за меня застоял один бедняк, который меня охранял, и сказал, что завтра же придут красные и расстреляют нашу всю деревню, а пусть он идет. И я был отпущен. А когда меня отпустили, то я не мог никак двигаться, а после на бой сразу. Мне надо было воды, то мне никто не дал воды. Нашелся один сознательный старик, не боясь ничего, он мне немного помог, запустив меня к себе и дав мне попить. И пробыв я у старика до ночи, и я пошел нанял ямищика довести до своей деревни Коноваловой. Приехав к отцу в двенадцать часов ночи, и я начал стучать. Отец испугался и говорит мне, что тебя приходили три раза с винтовками арестовывать. Брат спросил отца, что кто это. Отец сказал, что твой брат приехал. Брат и велел отцу впустить и говорит, что нам нечего бояться, если его убьют, то мы будем знать, что где он будет похоронен. А когда я вошел в дом отца, то тут быстро меня узнали свои родные и хотели приготовить сухарей, отправить меня скитаться. Но тут же быстро узнав, кулаки нашей деревни пришли, меня опять арестовали и повели меня расстрелять самосудом. А когда меня привели, то я пришел и спрашиваю: „В чем дело?“ Мне говорят кулаки: „Что, устояла ваша власть?“ – и говорят, что мы тебя, бандита, расстреляем, и приговорили меня расстрелять на кладбище. Но я благодаря своему упорству, я им сказал, что: „Гады, стреляйте меня на месте, а я туда не пойду.“ А в это время староста Канев Иван Иванович выразил обществу: „За что мы его расстреляем? Сегодня – белые, а завтра – красные. Нам всех не перестрелять, да и глупо будет“, – и велел отпустить, что он и так убит: „Пуцай отдыхает, дело не наше“. Меня отпустили домой. Но я домой не пошел, а зашел к одному бедняку, который меня заложил под перину, и я там спасся, меня больше года не нашли».

*Из воспоминаний Григория Иосиповича Прокудина,
жителя деревни Байкаим Кузнецкого округа Сибирского края. 1918 год*

От стен дома волной шел и захлестывал холод. Дров отрядили мало. Михаил ежил плечи, дул в ладони. Внутри, в легких, перекачивались остатки молодого жара.

Он тихо, как кот, ступая, пошел по дому. Медленно, слоновьи тяжело наступая на всю ступню, поднялся по лестнице. Холод и молчание, и больше ничего. Эти – затаились. Не шевелятся, не болтают на ихнем заморском.

Стекла трещали от ударов мороза. Мороз синим кулаком бил и бил в окна.

«И будет еще лютей, – подумал Михаил и почесал щеку, и еще и еще почесал, чтобы щека разогрелась от жесткого карябанья, – аж звезды вымерзнут».

Он нутром чуял: еще жесточе завернет зима.

Что ж они, в Рождество-то, умерли, что ли?

Тишина жутью залепляла уши.

Через стекла длинными иглами входили и входили, вползали звезды в грудную клетку.

Михаил постучал себя кулаками по груди, будто кто-то там у него засел, плененный: зверок ли, птица. И надо, разломав ребра кулаками, выпустить его на волю.

Охлопал себя ладонями по плечам, по-ямщицки: так у них в Новом Буяне ямщики, после перегона, топчась на снегу, охватывались, сами себя грели. Хлопки гулко раздались и истаяли в пьяной тишине.

Шел по коридору. Чувал себя червем, проползающим сквозь слой тихой земли. Из-под двери сочился свет. А, все ж таки не спят. Не спят!

Любопытство закололо плечи ершовыми плавниками. Лямин остановился и приник щекой к притолоке. Сощурил глаз. Ему не впервой было подсматривать.

Глаз, судорожно дергаясь в глазной впадине, зрачком шарахаясь, искал среди них, сидевших за столом, Марию.

Да, вот она.

Сглотнул. Кадык дрогнул. Квадрат людских затылков над квадратом стола. Странно застыли. Словно слушают. Страшную музыку. А может, приятную. Ангелы им поют на небеси!

Руку воздел, чтобы дверь толкнуть. Рука замерла. Сжалась в кулак. Кулак ко лбу поднес. Подглядывать – продолжил.

Чтобы шевельнулись, ожили – ударил сапогом о сапог.

Затылки задвигались. Появились профили и лица. Профили оборачивались друг к другу. Лица опять застывали холодными блинами, острыми тесаками. Михаил рыскал зрачками: цесаревича не видел. Спит, болезный. А елка-то где?

Вспомнил, как сам в лесу рубил. Сам тащил сюда.

И цесаревичу – показывал. Схватив за ствол, мелко тряс, и бесшумно отрясался на паркет мелкий жемчуг снега.

А цесаревич слабо, больным котенком, улыбался, показывал клычки и мелкие, как у матери, нижние зубы. И протягивал руку, и палец касался зелени иголок, как раскаленной в печи кочерги. Руку отдергивал. Михаил всем телом дергался в такт: так пугал царенка. А потом смеялся, грубо и хрипло, и цесаревич вторил ему: звонко, жаворонком. И Михаил, опомнившись, кричал: «Отставить!»

Тяжесть елки на плече. Корявый ствол, духмяная хвоя, крепкий спиртовый запах. Ему приказали, он исполнил, делов-то.

«Небось, спит в комнатенке своей. Мать укрывает его одеялами. Свое, небось, отдает, дочерины наваливает. А то рядом с ним под одеяло заползает, телом греть».

Задрожал под гимнастеркой. Холод пробирался под шинель. Шинелишка мала, в плечах жмет. «А как царевны? Им-то что в сугробе, что в спальне, одно. Тоже друг с дружкой... может, и кровати сдвигают...»

Он догадывался верно: цесаревны в лютейшие морозы спали парно – Ольга с Татьяной, Мария с Анастасией.

Зрачки поймали выблеск пламени. Уши уловили легкий треск. Горели в камине дрова. Время сжирало дерево, людские тела, воздух и камни. Оно оказывалось, как ни крути, сильнее огня и всего, что Михаил знал.

«Тоска им тут... Тоска». Цесаревича увидал, как в тумане.

Мялся с ноги на ногу. Но от дверной щели не отходил.

Из щели сочился нездешний свет. Такого он в своем, сером и грязном, кровавом мире не видал и вряд ли уже увидит.

Поэтому глядел жадно, хищно.

Елка стояла на столе. В центре стола, как в центре мира. На одном краю стола и на другом пылали и чадили две свечи: одна – огарок, другая тонкая и крепкая, с рвущимся, как кровь из аорты, пламенем. Иглы топорщились так рьяно, что ветки казались толще руки. Сизые, синие иглы. Кожу на спине Лямина закололо: будто бы морозом из залы дико, темно дохнуло.

Ни одной игрушки на елке. Ни свечи жалкой.

Он следил, как Мария, зябко поведя плечами под тонкой вытертой козьей шалью, подняла руки и огладила ближайшую к ней ветвь, как оглаживала бы дикую, опасную росомуху: с любопытством, испуганно и нежно. Белая рука, будто хрустальная. Будто – игрушка, и висит, качается... плывет.

Его проняло: оказывается, человек – тоже игрушка!

– Да еще какая, – выплюнул сквозь зубы бесслышно, – еще какая выкобенистая...

Что у них там на столе? Рождество – без пирога, без утки, запеченной в яблоках, без французского салата оливье с раковыми шейками и анчоусами? Сидели, гладили пустую скатерть. Ан нет, вон тарелка; и на тарелке нечто. Присмотрелся. Хлеб! Просто, крупно нарезанный ржаной хлеб. Цесаревич взял в руки кусок хлеба, понюхал. Нюхал так долго, что нога Михаила затекла, и он потрянул ею, лягнул тьму. И чуть сапог с ноги не сронил.

Мать сидела горделиво, жестко. Расширевшая старая спина, а жесткий юный хребет. Он часто видел, как бывшая царица, сидя в кресле, вытягивает вперед себя ноги, не железные, живые; распухшие, больные. Разношенные, когда-то роскошные туфли спадают. Пальцы в толстых носках шевелятся, брови и рот искривлены страданием. Будто кислого поела, лимон изжевала. Тогда Михаил странно, постыдно жалел ее.

Татьяна склонилась к матери, так двигаются тряпичные куклы. В руке она держала белый квадрат. Конверт, подумал Михаил сперва, письмо! Нет: тетрадь. Михаил разглядел: странная тетрадка-то, узкая, что твоя чехонь, и вовсе не белая, а лиловая. Татьяна ближе посунулась к царице и обняла ее за шею. Зашептала в ухо. Шепота он не слышал – слишком далеко сидели. Царица взяла тетрадь медленно, словно лунатик. Так же медленно притиснула к груди.

Царь смотрел взглядом долгим, скучным. Потом перевел водянистые, стеклянные глаза на елку.

И глаза стали зеленые. Глубь болота.

Царские глаза, перламутрово катаясь подо лбом, что-то увидели на обложке тетради. Николай протянул руку ладонью вверх. Александра положила в нее тетрадочку. Тетрадь величиной с ладонь. Записная книжка? Михаил слышал, как он дышит. Затылки дрогнули. Сидящая к нему спиной обернулась. Анастасия. Она держала нож. Узкий, длинный.

И наверное, остро наточенный. Впрочем, есть ли у них наждак? Прозрачный цесаревич призрачно улыбался.

Надо отнять нож. Как ни крути, это оружие.

И тут он не выдержал. Рванул дверь на себя. Бронзовая ручка в виде оскаленной морды льва обожгла пальцы.

Он не знал, что скажет. Да все равно было.

– Здррасте, мое почтение! – Издевательски, петушино взвился голос. – С Рождеством... ха-ха, Христовым всю компанию! – Кегли голов дрогнули, покатались – кто набок, кто к нему, кто прочь. – Как там, волсви со звездой... путешествуют?..

Анастасия хотела встать строго, да не вышло. Стул упал с грохотом. Цесаревич пропал. Да был ли?

– С Рождеством Христовым вас!

Глаза скользили по царственным головам.

Вот она, вот.

Руки Марии, прежде сильные, тяжелые, обливные, исхудали. Щеки ввалились. «Да, едят скудно. А откуда мы харчей напасемся?» Глаза огненно, охально очерчивали мягкие выпук-

лости груди под чистой, и, казалось, хрустящей серой бязью. Мария часто и сильно дышала, и ему почудилось – хрипит она, простужена.

«Немудрено. Такой холод на дворе и в доме».

– Садитесь с нами, – с трудом выжал из посинелых губ царь.

Сесть? Не сесть?

Подумал про караул.

«Мужики меня потеряли. И Пашка... тоже».

Ольга и Татьяна вскочили. Обе уступали место. Ему, охраннику – великие княжны!

В груди будто искра разгорелась; кишки запыхали. Сел. Бессмысленно потянул со стола салфетку, злобно смял в грязных пальцах. Анастасия рядом. Косилась, как кошка на мышь, на мозоли на его пальцах – от винтовки.

О чем говорить? Не о чем говорить.

«Я для них грязь. Пыль. Они мне через голову смотрят. Хуже коняги, хуже быка я для них. Скотину хотя бы кормят, ублажают. Ласковое слово бормочут. Ну вот сел я. Молчат! И будут молчать».

Сам не понимая, как это из него стало вырываться, плескать крыльями, вылетать, он хрипло запел:

– Ой Самара городок, беспокойная я! Беспокойная я, успоко-о-ой ты-и ме-ня...

«Вот вам. Вот. Вместо Рождественских тропарей ваших!»

На Марию не смотрел. Будто она реяла где-то высоко, над потолком, над зимними ночными облаками.

– Платок тонет и не тонет... потихонечку плывет! Милый любит ай не любит – только времячко ведет!

«Ишь, сидят. Слушают. Да она бы, царица, мне б, если могла – по губам бы кулаком дала!»

– Милый спрашивал любви! – Пел уже зло, с нажимом. Бил голосом, как молотком, по словам. – Я не знала, што сказать! Молода, любви не знала! Ну и...

Мария встала. Он увидел это затылком.

– Жалко отказать!

Ухмыляясь, скалясь, вот теперь обернулся к ней. Глазами стегнул по ее глазам, по щекам. Синий от холода нос, а щечки-то горят.

– Папа, можно, я угощу господина... товарища Лямина?

Глаза поплыли вбок, хлестнули стол. Пальцы Марии скрючились и цапнули кусок ржаного. Она подала хлеб Михаилу, как милостыню.

И он взял.

Песню прервал.

«Глупо все. Глупо».

Елка топырила сизые лапы. Изо ртов вылетал пар. Михаил вонзил зубы в ржаной и стал жевать, ему самому показалось, с шумом, как конь – овес в торбе.

Доел. И как шлея под хвост попала – опять запел.

Губа поднималась, лезла вверх; ослабилась, обнажил желтые от курава зубы.

– А раньше я жила не знала, што такое кокушки! Пришло время – застучали кокушки по жопушке!

Царица закрыла рот рукой. Будто бы ее сейчас вырвет. Дверь в другую комнату раскрылась, как крышка треснувшей шкатулки; вышел, ступая сонным гусем, цесаревич, настоящий, во плоти; обеими руками держал на плечах одеяло, как шкуру медведя; одеяло волочилось по полу, подметало мусор.

Алексей глядел круглыми напуганными глазами. Так глядит из клетки говорящий попугай, не понимая, что лепечут странные страшные люди.

– С Рождеством Христовым, мама, папа! Сестрички!

– Кокушки... по жопушке... – тихо, все тише повторил Лямин. С черного хлеба он опьянел, и водки не надо.

Анастасия ловко сунула руку под елку. Вытащила нечто. Он думал, это подарок, а это оказалась тарелка с гречневой кашей. И, о чудо, сверху каши лежало смешное, коричневое!

Котлета, давясь от неприличного смеха, догадался он.

Анастасия подвинула по столу тарелку ближе к Алексею. В ее глазах стояли слезы. Опять ненастоящие, хрустальные елочные висюльки. И сейчас прольются-разобьются.

– Алешинька... это тебе...

Каша и котлета, как это мило. Нежно.

Михаилу захотелось плюнуть на пол. И ударить кулаком эту елку на столе, и сшибить к чертовой матери.

Но он не ударил. И не плюнул.

Мария так ясно, прямо смотрела. Она не глядел на елку; ее взгляд горячим сургучом лился на него, злого, потерянного, застывал, запечатывал.

Алексей затрясся, сдернул с плеч одеяло, подложил под себя, на сиденье, сел. Ему в руки воткнули ложку. У ложки крутилась, голову кружила витая ручка. Серебро почернело, и витки спирали вспыхивали рыбьей чешуей. Михаил смотрел, как цесаревич ест. И сам шумно подобрал слюни. И вытер кулаком рот. Часы в другой, иной, инакой, за семью морями, комнате забили: бом-м-м-м, – один раз. И задохнулись.

Час ночи. Час.

И, когда они все, вся семья, встали за столом, все, как по команде, перекрестились и запели: «Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума, в нем бо звездам служащий звездою учахуся, Тебе кланяются, солнцу правды!» – он встал, пятясь, онемевшей рукой оттолкнул прочь от себя тарелку со ржаным, она заскользила по столу, докатилась до края, чуть не упала, и Мария, закусив губу, поймала ее, да неудачно: тарелка живой рыбой вырвалась у нее из рук, грянулась об пол и разбилась. Хлеб разлетелся.

– ...и Тебе ведети с высоты Востока, Господи! Слава Тебе-е-е-е-е!

* * *

Михаилу в нос ударила вонь сырых портянок. Красногвардейцы дрыхли кто как, вповалку. Кто на кроватях; кто на полу. Полom не гнушались: а какая разница, от панцирной сетки все одно холодом несет. Михаил угнездился у окна. Через раму дуло. Ветер на улице мужал, наглел. Лямин вылез из шинели, накинул ее на плечи, медленно потянул на голову. Натягивая, уже спал. Во сне ему привиделось – он ищет Пашку, ищет, ищет и найти не может. А она вроде бы храпит тут же, рядом. Возле. И он тычет кулаком в мягкое, пахучее женское тесто – а натывается на колючие заиндевелые доски заплота. И занозы всаживаются ему в кулак, и он выгрызает их зубами, и кровь на снег плюет, и матерится.

...Густо, пряно, маслено гудел колокол. Мощный, басовый.

Цари шествовали по улице во храм Покрова Богородицы, а впереди, с боков и сзади шли конвойные. Перед носом царя мотался колоколом кургузый, недорослый, в полушубке с чужого плеча, солдат по прозвищу Буржуй. Слева шли, на всякий случай винтовки в руках, а не за спиной, Сашка Люкин и Мерзляков. Справа шагал четко и сильно, будто почтовые штемпели подошвами сапог ставил на белых конвертах снега и льда, Андрусевич. Рядом с ним – комиссар Панкратов. Лямин замыкал конвой. Ребра сквозь шинель чуяли ледяную плаху приклада.

Ремень давил грудь. Он поправил его большим пальцем; пошевелил пальцем внутри голицы. Палец ощутил, ласково осязал кудрявый бараний мех рукавичного нутра. «Хорошие голички, Пашке спасибо, уважила».

Это Пашка ему пошила. И ловко же все умела, быстро. Что винтовку шомполом почистить, что щи в чугуне заделать – пустые-постные, а пальчики оближешь.

А интересно вот, да, она-то, *она* умеет что постряпать?

Забавно шли в церковь: впереди не родители, а дети. Гусак и гусыня назади, а выводок перед собой вытолкнули. И быстро же девки перебирают ногами. Шубенки пообтрепались. А залатать некому и нечем.

«Лоскуты им, что ли, где раздобыть овечьи. Пашку заряжу, починит».

Мария ступала, ему так чудилось, легче всех.

«Как по пуху, по снегу идет. А снег под ней... музыкой пищит, скрипит...»

Народ около церкви кучковался, сбивался, густел, вздувался черными и серыми пузырями. Мех шапок лучился жестким наждачным инеем. Мужики шапки сдергивали у самого входа, перед надвратной иконой Одигитрии, сжимали в руке или крепко притискивали к груди, крестясь. Бабы не улыбались; обычно в Рождество все улыбались, сияли глазами и зубами, а тут как воды в рот набрали. Будто – на похороны пришли, не на праздник.

Михаил понял: народ согнался на царей дивиться.

Ну, зырьте, зырьте, зеваки. Такого-то больше нигде не узрите. А только у нас, в Тобольске! Посреди Сибири, снежной матушки!

Вместе влились густым людским варевом внутрь церковного перевернутого котла: и точно, как на дне котла, копоть икон со взлизами золотых тарелок-нимбов, черные выгнутые стены, и катится по ним жидкая соль слез и пота, застывает, серебрится.

Цесаревны встали цугом, как лошади, запряженные в карету, Алексея дядька в тельняшке держал на руках; потом бережно опустил на огромную, погрызенную временами каменную плиту. Александра Федоровна стояла в ажурной вязаной шали. Край шали, с белыми зубцами, касался щеки и, видимо, неприятно щекотал ее; царица рассеянно подсунула под шерсть пальцы и отогнула ее, и шаль мигом сползла ей на плечи, на воротник лисьей шубы.

Священник пел, гремел ектенью, да увидел простоволосую. Насупился и выбросил вперед руку, как дирижер, а старуха уже испуганно платок на лоб водружала. Устрашилась! Как простая! Как мещанка, как баба деревенская!

А что, они такие же люди, как все мы. Точно такие. И кровь у них не голубая, а красная. «Как наше знамя».

Гордо подумал, и мороз когтями голодного кота подрал у него под лопатками.

Они стояли: муж и жена, и жена гляделась выше мужа. Малорослый полковничек-то при супружнице. Чуть бы ему подлинней вытянуться. Или это она – на каблуках?

Скосил вниз глаза. Из-под шубы царицы торчали серые тупоносые катанки. Снег на них подтаял в храмовом тепле, и капли воды сверкали отражением свечного огня.

Михаил с трудом перекрестился.

Для него Бог был, и уже Бога не было. Как это могло так совмещаться? Он не знал. А раздумывать на эту тему было не то чтобы боязно – недосуг.

– Блажени плачущии, яко тии утешатся! – гремел архиепископ Гермоген.

Рядом с царицей стояла баба в огромном, как стог сена, коричневом шерстяном платке с длинными кистями. Когда архиепископ грянул: «Блажени кротцыи, ибо тии наследят землю!» – по щекам бабы потекли быстрые веселые слезы. Она грузно повалилась на колени и, быстро и сильно осеняя себя крестным знамением, повторяла шлепающими, лягушачьими, большими губами:

– Ох, блажени! Ох, блажени!

И все крестилась, крестилась. У Михаила замелькало в глазах, будто он на крылья мельницы глядел.

Нехорошо вокруг творилось. Народ все прибывал. Все душней становилось, дышать было невмочь. Народ тек и тек, трамбовался, груди прижимались к спинам, и перекреститься нельзя было, не то чтобы свечку горящую держать. Кто-то ахнул и упал без чувств; расталкивая локтями и коленями толпу, с трудом выдрались, вынесли на мороз, на солнце. Двери храма не закрывались. Гермоген служил, голову задирает, следил за паствой. Дьякон мельтешил, то подпевал, то кадило подавал, и курчавые завитки дыма обвивали повиликой торчащие из рас-трубов парчовых рукавов руки-грабли.

«И стреляют попы, и картошку копают, и охотятся. Все умеют. Не белоручки».

Мысли подо лбом вспыхивали насмешливо, гадко.

...Родители старались: молились, крестились, и дети крестились.

...Они крестились все по-разному. Как неродные.

Анастасия остро, будто клювом дятла – кору, клевала, била себя в лоб, грудь и плечи. Будто бы себя – наказывала. Татьяна медленно, нежно подносила щепоть ко лбу. Алексей крестился восторженно, ласково. Он ласкал себя, приветствовал. Возлюби ближнего, как самого себя, – а и самого-то себя любить не умеем! Ольга крестилась гордо и размеренно. Ее симфония звучала торжественно, как и требовало того торжество Рождества.

Мария крестилась незаметно. Широко, будто не рукой, а воздухом. Порывом ветра. Он чувствовал ветер, от нее доносящийся. Жмурился, как слизнувший сметану кот: брежу, спятил! Мария приподнялась на цыпочках, улыбаясь далекому, гремящему золотому Гермогену, и ее ступни оторвались от пола, она зависла над холодными выщербленными грязными плитами, повисела чуть – и плавно, очень медленно поплыла над полом, вперед, к амвону, ибо ее никто не теснил: вся толпа стояла и давилась за спиной, сзади.

«Умом я тронулся, мама родная. Богородица, помоги».

Вот сейчас он готов был поверить в кого и во что угодно.

В спину Лямина уперлась жесткая кочерга чужого локтя. Завозились, завздохали.

– Ой, божечки! Вон они, вон они!

Конвойные теснились, ворчали. От Андрусевича крепко тянуло табаком. Смуглые ноздри округлял. Лямин видел: курить хотел, мучился. Сашка Люкин сплюнул, слюна попала на плечо царя, на его шинель без погон. Держалась за сукно утлой серой жемчужиной.

Архиепископ тяжело, с натугой пропел одну громоподобную фразу, вторую. У Михаила заложил уши. Панкратов презрительно поднял плечи, и погоны коснулись его ушей, отмороженных красных мочек.

Дьякон вдруг выше, высоко поднял горящую свечу. Гермоген раскинул руки – в одной дикий, в другой трикий. Перекрестил руки; огонь запылал мощнее на сквозняке, морозным копьём пронзающем толстую плотную духоту.

Дьякон, широкогрудый, мощный, как баржа по весне на Иртыше, груженная углем, набрал в легкие щедро воздуху.

– Их Величеств Государя Императора и Государыни Императрицы-ы-ы-ы-ы...

Сашка Люкин посмотрел на Лямина, как на зачумленного.

– Што, сбрендил? – беззвучно проронил Мерзляков.

– Их Высочеств!.. Великих Княжон Ольги, Татианы, Марии, Анастасии-и-и-и-и...

Буржуй дернул плечами и заверещал:

– Эй ты, стой! Заткнись!

Куда там! Вокруг вся могучая толпа странно, едино качнулась и празднично возроптала. Писк Буржуя угас в гудящем и плывущем пространстве. Сгинул во вспышках – в угольном подкупольном мраке – лимонных, прокопченных страданием нимбов и алых далматиков.

– Его Высочества Великого Князя, наследника Цесаревича-а-а-а... Алексия-а-а-а-а!

– Молчать! – беззвучно из-под висячих табачных усов крикнул Андрусевич.

– Многая, многая, мно-о-о-огая... ле-е-е-е-ета-а-а-а!

Конвой увидел то, что видеть было нельзя. Народ валился на колени, и его было с колен не поднять. Ни ружьем, ни штыком, ни прикладом.

Если бы они сейчас всех перестреляли, перекосили в этой проклятой вонючей церкви из пулемета – никто бы все равно с колен не встал.

Темный воздух резко, радостно просветлел. Лямин задрал башку: откуда свет?

«Будь проклят этот свет. Этот чертов храм!»

Старался не смотреть на Панкратова. Теперь комиссар ему задаст! Почему – ему, он и сам не знал. Старшим у них был Мерзляков, мрачный молчун. Лишь глянет – вытянешься во фронт. Глаза такие, бандитские, собачьи, ножами режут.

Толпа качнулась вперед, назад. Толпа готова была подхватить царей на руки. Проклятье! Как мать.

Толпа – мать, и царь – отец. Как все просто. И пошло.

Как обычно устроен мир.

Но теперь мы его перестроим. Перекроим!

И никаким Гермогенам... в их ризах, в парче...

– ...та-а-а-а...

Под куполом эхо умерло. И кусками слез и дыхания обваливалась, как штукатурка, тишина.

Гермоген счастливо перекрестил паству. А рука его дрожала.

...Мерзляков и Панкратов дождались отпуска и целования креста. Народ уходил медленно, нехотя, люди оглядывались; и глядели даже не на царей – на них, стрелков, на конвой, будто они были какие попугаи заморские.

Михаил зло скрипнул зубами.

При выходе из церкви постарался боком, локтем задеть Марию, прижаться. Она хотела шарахнуть, он видел; потом удержалась, дрогнула круглым, как репа, подбородком, губы расплзлись в робкой улыбке.

– Извините. Я вас задела.

– Это я вас задел.

Снег капустно, хрипло хрустел, пел, пищал под сапогами, валенками, ботами, котами, катанками, лаптями, башмаками. Лямин знал: комиссар и Мерзляков остались в церкви. Они сейчас архиепископа и дьякона вилами, как ужей, к стене прижмут.

А может, и к стенке поставят. Сейчас быстрое время, и быстрые пули.

* * *

Лямин раскуривал «козью ножку». Свернул из старой газеты. Пока сворачивал, читал объявления в траурных рамках: «ВЫРАЖАЕМ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ...», «С ПРИСКОРБИЕМ СООБЩАЕТ СТАТСКИЙ СОВЕТНИК ИГОРЬ ФЕДОРОВИЧ ГОНЗАГО О КОНЧИНЕ ЛЮБИМОЙ СУПРУГИ ЕКАТЕРИНЫ...»

Смерти, смерти. Сколько их. Смерть на смерти сидит и смертью погоняет. В жизни нынче вокруг только смерть – а он все жив. Вот чертяка. Втягивал дым и себе удивлялся.

Ушки на макушке: слушал, что товарищи балакают.

И снова удивился: раньше так к их бестолковому, жучиному гудению тщательно, с подозрением, не прислушивался.

– А Панкратов-то у нас игде?

– Исчез! Корова языком слизала!

– Таперя гуляй, рванина!

- А чо гуляй-то, чо? Раскатал губищу-т!
- Да на Совете он.
- Как так?
- Как, как! На нашем Совете!
- На Тобольском, да-а-а-а!
- Срочно собралися.
- А чо срочно? Беляки подступают?
- Сам ты беляк! Заяц!
- Но, ты мне...
- Спирьку я посылал туды. Уж цельный день сидят. Спирька бает: так накурено, так!..

Насмолили, аж топор вешай. И грызутся.

- А что грызутся-то?

Козья ножка дотлевала, красная крохотная звезда пламени медленно, но верно добиралась до Михайлова рта. Искурил, на снег горелого газетного червяка бросил. Сапогом прижал.

– Да то... Спирька-то глуп, барсук, туп... а запомнил. И мне донес. На комиссара бочку катят. Обличают. В мягкотелости! Добр, кричат, ты слишком. Велят с бывшими энтими, с царями, обходиться суровой.

- Дык куды уж суровой. В голоде держим их, кисейных, в холоде. К иному ведь привыкли.
- Ну да. К перламутровым блюдечкам, к чайку с вареньицем из этих... этих, ну...
- Баранки гну!
- Из ананасов.
- Они и вишневое небось трескали, и яблочное. Чай, в Расее живем, не в Ефиопии.
- И чо хотят-то? Штоб мы их... энто самое?
- Дурень. Спирька тебя умнее. Сдается мне, за решетку их хотят затолкать. Дом – одно,

тюряга – другое, понимай.

- Врет он все, твой Спирька! Брешет!
- Это ты брешешь, кобель блохастый.

Беззлобно перебранивались, кашляли, под нос песни гудели. Всяк скучал по дому. А он, Михаил, по Новому Буяну – скучал?

Спросил себя: тоскуешь, гаденьш?

Отчего-то себя гаденьшем назвал, и стало смешно до щекотки.

– А эти, эти! Попы, хитрованы! Вот кого надо удавить. Передавить всех, как вошей. К ногтю, и делов-то!

- А чо ты так на них? Попы они и есть попы. Были всегда.
- Газеты читай!
- Да я ж неграмотный.
- Врешь! Я видал, ты помянник мусолил.
- Да у меня матери година. Помянуть хотел.
- Видишь, читаешь, значит!
- А чо в газетах-то?
- А то. Патриарх Тихон на большевиков – анафему!
- Ана-а-а-фему?!
- Анафему, вон как...
- И чо? Велика ли сила в той анафеме? Сказки поповские все это!

Михаил отнял ногу от снега. Подошва сапога отпечаталась глубоко и темно, словно белую сырую простыню прожег утюг. Окурочок лежал тихо и мертво, вмятый в снег.

«Сказки, сказки», – повторял про себя Лямин, все ускоряя и ускоряя шаг.

...Взбежал по лестнице в дом. В коридоре дверь чуть приоткрыта. Ввалился боком. Знал: там не пусто. Прасковья стояла у окна. Взгляд ее уходил далеко в морозную синеву, она будто нить тянула сразу из двух зрачков, а некто огромный, заоконный ту нить на холодный палец наматывал.

Обернулась, да уж лучше бы не оборачивалась. Ее лицо с широкими, косо срезанными скулами будто медной плоской покатило в лицо Лямина, и он отшатнулся от охлеста безжалостных глаз.

– Ну что ты, – шептал, как норовистой лошади, все-таки шагая к ней, себя преодолевая. Женщина, он видел, сложила рот для того, чтобы смачно плюнуть. Ему в лицо.

– Плюй! – крикнул он.

Она неожиданно и круто повернулась к нему спиной.

Потом странно быстро наклонилась. Вцепилась себе в ремень. Истеричные пальцы не сразу справились с застежкой. Он изумленно глядел, как спадают с ног бабы солдатские порты.

Белизна ляжек ошеломила. Пашка наклонилась до полу, выставив белый крепкий зад. Ягодицы торчали незрелыми помидорами. Ладонями она трогала, ощупывала половицы, как если бы они были живые рыбы и уплывали, ускользали.

– Ну! – теперь крикнула она. – Что стоишь! Валяй!

Туман закружился передо лбом, надвинулся на лоб плотной серой шапкой. Ноздри, раздувшись, поймали женский запах. Ноги уходили, а нутро оставалось. Качался, как в лодке посредине реки.

– Ну что! Давай! Трусишь? Или...

Он, заплетая ногами, подбрел к этому белому, круглому, жаркому, – знакомому, родному. И в этой униженной, рабской согнутости она все равно стояла на расставленных кривоватых, кавалерийских ногах крепкой, гордой и сильной. Сила перла вон из нее, полыхала, уничтожала его, давила; он был всего лишь насекомое, и его прихлопнут сейчас, сдуют с ладони.

«Я возьму ее... возьму, она хочет!»

«Врешь: это не ты возьмешь, а тебя возьмут. И съедят. И выплюнут».

Уже прижимался животом к ее горячему, вздрагивающему твердому зад. Качался вместе с ней, терся об нее. Умирал, дышал захлебисто, ладони уже сами, не слушаясь, хватили свисающие под гимнастеркой тяжелые мягкие груди. А если кто войдет!

«Составят тебе компанию, и ее отнимут... выдернут у тебя из рук... повалят...»

Мутились пучеглазые, глупые рыбы-мысли

Вдруг Пашка вывернулась из-под него винтом, крутанулась, выгнула спину. Брякал ремень. Медно, звонко брякало о ребра сердце. Он ловил ее по комнате ошалелым медведем, голодным шатуном, а она уворачивалась, и на щеках вспыхивали ожоги – это она лупила его по щекам, да, ах, а он только что понял.

Пощечины звучали тупо и глухо, будто били в ковер палкой, выбивая пыль. Потом прекратились.

Гимнастерка поверх ремня. Лиф расстегнут. Пахнет лилиями от ее живота! В бане часто моется, не то что они, заскорузлые мужики. Он слышал свое дыхание, и оно такое громкое было, что – оглох. Тонким комариным писком зазвенел в висках далекий сопрановый колокол.

«Ко Всенощной звонят, в Покрова Богородицы», – билась кровь, разрывала мозг.

* * *

Вспоминать можно всяко.

Можно лечь спать, смежить веки, и под лоб ползет всякая чушь.

Можно бодро и упруго идти, а сапоги все равно тоскливо вязнут в нападавшем за ночь, густом, как белое варенье, снегу, – и то, что помнишь, будет летать перед тобой голубем, воробьем.

Можно курить на завалинке, долго курить: искурить сигарку, а потом новую свернуть, а потом, когда табаку не останется в кармане, делать вид, что куришь, посасывая клочок бумаги; так выкроишь себе кус времени, а прошлое обступит, затормошит, не даст покоя.

И выход только один – идти к солдатам и еще табаку просить, чтоб одолжили.

...Когда прибыли сперва в Тюмень, потом в Тобольск – Советы сразу направили их сторожить царей. Пашка пожалала плечами: сторожить так сторожить. Лямин еще подерзил: а казак царских когда бить?! – да ему вовремя кулак показали: слушайся красного приказа!

Они оказались в одном охранном отряде – те, кто трясся без малого месяц в утлом вагоне от Петрограда до Тюмени: Лямин, Люкин, Андрусевич, Мерзляков, Подосокорь, Бочарова. Подосокорь тут же куда-то сгинул. Может, в Омск направили или в Тюмень обратно, или куда подальше, в Курган, в Красноярск, в Ялуторовск, в Иркутск, в Читку; а может, хлопнули где – свои же, за провинность какую. Сейчас провиниться и пулю заработать – раз плюнуть. Хуже, чем на войне.

А война-то, дрянь такая, идет себе, идет.

И что принят декрет о мире, что нет; вот тоже загадка диковинная.

И земля, кого сейчас земля?

Вот вернется он в Новый Буян – кого там земля будет? Народа – или опять не народа?

А кого? Кого другого?

...Вышли из дома, где Советы заседали, на мороз. Пашка закурила. Спросила Михаила сквозь сизый, остро воняющий жженым сеном дым: а что, они тут, в этих здешних Советах, какие, красные или другого какого цвета, эсеры, меньшевики или большевики? Лямин у нее прикурил. Стояли на крыльце, стряхивали пепел в вечерний, белизной и острой радугой сверкающий сугроб. Ответил: а пес их поймет. Смешалось все в России, и тот, кто сейчас палач, завтра сам встанет к стенке.

И мы встанем, хохотнула Пашка. Она всегда так хохотала – резко, сухой и яркой вспышкой.

Хохотала, будто стреляла.

...Они явились туда, куда им приказано было – и поняли, что не одни они тут стрелки, а есть уже в наличии охрана: с собою бывшим царям из Царского Села гвардейцев разрешили взять. Питерские гвардейцы косились на них. Они – на гвардейцев. Ребята простые; скоро подружились. Вместе курили, вместе в карауле стояли. Вместе пили, пуская бутылку с беленькой по кругу, сидя на холодных матрацах, на зыбучих, вроде как лазаретных койках.

...Вскорости после помещения их всех, из Петрограда прибывших бойцов, на охранную службу в бывший Губернаторский дом, а теперь Дом Свободы, где под арестом содержались эти клятые цари, да уж и не цари вовсе, Пашка уступила ему – слишком сильно и дико, как волк – волчицу, он домогался ее.

А когда все случилось – он уж без нее не мог.

А она – без него? Могла ли она?

Вопросы таяли и умирали, он растапывал их окурками на снегу, сгрызал сосулькой, когда стоял на карауле у ворот и, как в пустыне, хотел пить.

...и вспоминал многое, досасывая во рту ледяную жгучую сладость, вспоминал все: и то, как на станции, забыл название, вроде как Валезино, а может, и Балезино, Пашка вышла купить у баб снеди, а тут состав взял да и стронулся, и пошел; и пошел, пошел, паровоз задымливал, быстрее проворачивал колеса, тянул поезд все быстрее и быстрее вперед, и ухнуло тут у Мишки сердце в прорубь, и он рванулся в тамбур – а там, рядом с вагоном, уже отчаянно

бежала, семенила ногами Пашка, и лицо ее плыло в дыму, а пальцы корчились, крючились, пытаясь достать Мишкину протянутую руку; и Мишка дотянулся, схватил, на ходу втащил Пашку в вагон, а она заправила волосы за уши и, тяжело дыша, вкусно, смачно чмокнула его в щеку; и то, как после Екатеринбурга в вагон впятился кривой гармонист и все ходил по вагону взад-вперед вприсядку, на гармошке наявивая, и дробно, четко сыпал изо рта частушки, одна другой похабнее; и Пашка хохотала, и все хохотали вокруг, а потом вдруг она присела рядом с маленьким, как гриб боровик, гармонистом, поглядела ему в глаза и громко, Мишка услышал, спросила его: «Хочешь, пойду с тобой? Сойдем с поезда, и пойдем?» А Лямину кишки ожгло диким кипятком, он не мог ни говорить, ни хохотать, хотя, может, это была такая Пашкина шутка; он только смог встать, шатаясь, как пьяный, и рвануть Пашку за руку от одноглазого гармониста. А она вырвала руку и крест-накрест разрешила его глазами. Ничего не сказала, ушла в тамбур и курила, и стояла там целый час.

И то вспоминал, как, уже на подходах к Тюмени, уже Пышму проехали, и Пашка уже расчесывала свои густые, что хвост коня, серо-русые, прямо сизые, в цвет груди голубя, волосы, к прибытию готовилась, вещевого мешок уж собрала, и тут состав внезапно затормозил так резко и грубо, что люди попадали с полок, орали, кто-то осколками стакана грудь поранил, кто-то ногу сломал и тяжело охал, а кто стукнулся виском и лежал бездвижный – может, и отошел уже, – и Пашка тоже упала, гребень вывалился из ее руки и выкатился на проход, и бежали люди по проходу, кричали, наступили на гребень, раздавили. А Пашка стукнулась лбом, очень сильно, и сознание потеряла, и он держал ее на руках и бормотал: Пашка, ну что ты, Пашка, очнись, – и губы кусал, а потом добавил, в ухо ей выдохнул, в холодную раковинку уха под его дрожащими губами: Пашенька.

А она ничего не слыхала; лежала у него на руках, закатив белки.

И то помнил, как на одном из безымянных разъездов – стояли час, два, три, с места не трогались, все уж затомились, – кормила Пашка на снегу голубей, крошила им черствую горбушку, голуби все налетали и налетали, их прибывало богато, и откуда только они падали, с каких запредельных небес, какие тучи щедро высыпали их из черных мешков, – уголодались птицы, поди, как и люди, – а Пашка все колупала пальцами твердую ржаную горбушку, подбрасывала хлеб в воздух, и голуби ловили клювами крохи на лету, а Мишка смотрел на это все из затянутого сажей окна, и сквозь сажу Пашка казалась ему суровым мрачным ангелом в потертой шинели, что угощает чудной пищей маленьких, нежно-сизых шестикрылых серафимов.

Вот именно тогда, глядя на нее в это закопченное вагонное окно, он и подумал – вернее, это за него кто-то сильный, громадный и страшный подумал: «Да она же моя, моя. А я – ее».

* * *

Пашка, если не в карауле стояла, часто сидела у окна комнаты, где жили стрелки. Она-то сама ночевала в другой каморке – ей, как бабе, чтобы не смущать других бойцов, Тобольский Совет выделил в Доме Свободы жалкую крохотную комнатенку, тесную, как собачья будка; но кровать там с трудом поместилась. В этой комнатенке они и обнимались – и Лямин смертельно боялся, что Пашка под ним заорет недуром, такое бывало, когда чересчур грозно опьянялись они, сцепившиеся, друг другом.

Никогда при свиданьях не раздевались – Михаил уж и забыл, что такое голая совсем, в постели, баба; обхватывая Пашку, подсовывая ладони ей под спину, жадно чуял животом то выгиб, то ямину, то плоскую и жесткую плиту ее живота.

Животами любили. Голую Пашкину грудь и то видал редко – раз в месяц, когда на задах, в зимнем сарае, где хранили дрова, разрывал у нее на груди гимнастерку и приникал ртом к белой, в синих жилках, коже цвета свежего снега. А Пашка потом, рьяно матерясь, соби-

рала на земле сараюшки оторванные пуговицы, поднималась в дом и сидела, роняя в гимнастерку горячее лицо, и, смеясь и ругаясь, их пришивала к гимнастерке суровой нитью. Сапожная толстая игла мощной костью тайменя блестела в ее жестких и сильных пальцах.

И, когда свободный час выдавался, Пашка заходила в комнату к стрелкам и садилась у окна.

И так сидела.

Ей все равно было – толчется тут народ, нет ли; не обращала вниманья на курево, на матюги, на размотанные вонючие портянки на спинках стульев; на то, что, завидев ее, стрелки весело кричали: а, вот она, наша мамаша! пришла! явилось ясно солнышко! ну садись к нам поближе, а в карточки шуранемся ай нет?!.. – на эти крики она не отвечала, молчала, придвигала стул ближе к окну – и, как несчастная дикая кошка, отловленная охотником и принесенная в дом, к теплой печи и вкусной миске, в теплую и навечную тюрьму, тоскливо, долго глядела в лиловеющее небо, на похоронную белизну снегов, на серые доски заплота и голые обледенелые ветки, стучащие на ветру друг об дружку.

Сидела, глядела, молчала.

И чем громче поднимались вокруг нее веселые молодые крики – тем мрачнее, неистовее молчала она.

А когда в комнату стрелков входил Лямин, у нее вздрагивала спина.

Он подходил, клал пальцы на спинку стула. Она отодвигалась.

Все в отряде давно знали, что Мишка Лямин Пашкин хахаль. Но она так держалась с ним, будто они вчера спознались.

Он наклонялся к ее уху, торчащему из-под солдатской фуражки, и тихо говорил:

– Прасковья. Ну что ты. У тебя что, умер кто? Ты что, телеграмму получила?

Она, не оборачиваясь, цедила:

– Я не Прасковья.

– Ну ладно. Пашка.

Лямин крепче вцеплялся в дубовый стул, потом разжимал пальцы и отходил прочь.

И она не шевелилась.

Бойцы вокруг, в большой и тоскливой, пыльной и вонючей комнате были сами по себе, они – сами по себе. Крики и возня жили в грязном ящике из-под привезенных из Питера винтовок, забросанном окурками и заплыванном кожурою от семечек; их молчанье – в золоченой церковной раке, и оно лежало там тихо и скорбно, и вправду как святые мощи.

А может, оно плыло по черной холодной реке в лодке-долбленке, без весел и руля, и несло лодку прямо к порогам, на верную гибель.

* * *

– Подье-о-о-ом!

Царь уже стоял на пороге комнаты, где они с царицей спали. Как и не ложился.

Бодр? Лицо обвисает складками картофельного мешка. Кожа в подглазьях тоже свисает слоновьи. Мрак, мрак в глазах. Рукой от такого мрака заслониться охота.

Михаил внезапно разозлился. И когда оно все закончится, каторга эта, цари? Устал. Надоело. Замучился. Да все они тут, все, тобольский караул...

– Все мы встали, дорогой... – Помедлил. – Товарищ Лямин.

Такие спокойные слова, и столько издевки.

Михаил чуть не загвоздил царю в скулу: рука так сильно зачесалась.

Был бы мужик напротив, красноармеец, – такой издевки б не спустил.

– Давай на завтрак! Все уж на столе! Стынет!

«Накармливай тут этих оглоедов. И раньше народу хребет грызли, и сейчас жрут. Нашу еду! Русскую! А сами, немчура треклятая!»

Уже беспощадно, бессмысленно матерился внутри, лишь губы небритые вздрагивали.

Царь посмотрел на него странно, длинно, и тихо и спокойно спросил:

– А почему вы, товарищ Лямин, называете меня на «ты»?

Было видно, как трудно ему это говорить.

А Лямину – нечего ему было ответить.

...Когда в залу шли, гуськом, чинно, девицы в белых передничках – расслышал, как странно, тихо и глухо, на собачьем непонятном языке, переговариваются Романов с Романовой.

Потом – будто нехотя – по-русски забормотали.

– От Анэт письмо. Боричка жив, здоров.

– Какой Боричка? Теософ?

– Друга нашего друг.

– А, понял. Дай-то Бог ему. Да ведь он пулеметчиком?

– Все, к кому прикасалась рука Друга, священны.

– Знаю. Он жениться на Анэт не собрался?

– Нет. Лучше того. Он скоро будет здесь. У нас.

– Вот как. И зачем? Зачем нам революционер? Это чужак.

– Ты не понимаешь. Он родной. Деньги нам везет.

– Деньги? Какие?

– Анэт собрала. Но я ему не верю. Я боюсь.

– Чего ты боишься, душа моя?

– Всего. Возможно, Боричка ставленник Думы. А может, и Ленина.

– Пфф. Ленин – странная оручая кукла. Гиньоль, Петрушка. Он сгинет, упадет с балкона и разобьется. Я не держу его всерьез. Аликс, верь Анэт, она не подведет.

– Я... – Тут они оба перешагнули порог столовой залы, она чуть раньше. – Я верю только Другу. Он из-за гроба ведет нас.

Войдя в залу, замолкли. На столе стыла скудная еда: гречневая рассыпчатая каша, куски ситного без масла, жидкий чай в стаканах с подстаканниками.

Расселись. Девочки разгладили передники на коленях. Как ненавидел Михаил эту их вечную молитву перед трапезой!

Он и сам так молился все свое деревенское детство; почему его с души воротило, когда цари вставали вокруг стола и складывали руки, и читали про «хлеб наш насущный даждь нам днесь», – он не понимал. Рты им хотел позатыкать грязным полотенцем.

«Я схожу с ума, я спятил. Я кощунник! Или уж совсем в Бога не верую? Спокойней, Мишка, спокойней. Это ж всего лишь люди, Романовы им фамилия, и они читают обычную молитву перед вкушением пищи. Что разбушевался, рожа красная?»

В зеркале напротив, в черном пыльном стекле с него ростом, видел себя, рыжий клочок волос надо лбом, гневной дурной кровью налитые щеки.

Помнил приказ: за семьей досматривать везде и всегда, поэтому не уходил из зала. Бегал глазами, щупал ими все подозрительное, все милое и забавное. Все, что под зрачки подворачивалось: веснушки на Анастасиином носу, золотые, червонные пряди в темных косах Марии, гречишное разваренное зерно, как родинка, на верхней, еще безусой губе наследника. Желтую грязную луну медного маятника. Острый локоть бывшей императрицы, когда она подносила ложку с кашей ко рту, надменно и горько изогнутому. Она и ела, будто плакала.

Жевали молча. Отпивали из стаканов.

– Молочка бы. Холодненького, – тоскливо и голодно, тихо сказал наследник.

Царь дрогнул плечом под болотной гимнастеркой.

Мариин профиль тускло таял в свете раннего утра. По стеклам вширь раскинулись ледяные хвощи и папоротники. Михаил стоял у двери, и не выдержал. Отступил от притолки, каблук ударился о плинтус. Шаг, вбок, еще шаг. Он двигался, как краб, чтобы встать удобнее и удобнее, исподтишка, рассматривать Марию.

Она почувствовала его взгляд и покраснелась щекой. Он ждал – она обернется. Не обернулась.

А жаль. «Поглядела бы, хоть чуток».

Тогда бы, смутно думал он, – а что тогда? Завязался бы узелок? Зачем? На что? Сто раз она глядела на него. Улыбалась ему. А все равно он для нее – стена. Бревно, полено, грязная лужа. И никакая улыбка не обманет.

А правда, кто тут кого обманывает?

...Словно яма распахнулась под ногами.

«Царь – нас обманывал. Ленин – нас обманывает? Охмуряет? Куда тянет за собой? Потонули в крови, а балакают о светлом будущем, о счастливом... где все счастьем – захлебнемся... Мы – красноармейцы – обманываем царей: ну, что охраняем их. Утешаем! Мол, не бойтесь! А что – не бойтесь-то?! Ведь все одно к яме ведет. К яме!»

И еще ударило, в бок, под дых: к яме ведут всех нас, идем – все мы.

«Так все одно все мы... там и будем... раньше ли, позже...»

Между бровей будто собралась тяжелая горячая тьма, величиной со спелую черную вишню. И давила, давила. А нас обманывают командиры, продолжал тяжело думать Лямин, да еще как надувают: отдают приказ, а мы и рады стараться; а они за спиной в это самое время...

Что – они за спиной, – он и сам бы не мог толком сказать; но понимал, что приказ – это для них, черных людей, а для господ большевиков – может, и не приказ вовсе.

Господа! Товарищи! Он еще вчера был царской армии солдат. И вот, вот ужас. Он – над своим царем – которому подчиняться должен, дрожа, от затылка до пят, от ресниц до мест срамных и потайных, – сейчас хозяин! Конвоир – уже хозяин. Ведет, сторожит, бдит, – а фигура на прицеле. На мушке. Не убежишь. Слюну без спросу не проглотить.

Яма, думал он потрясенно, яма, и делу конец.

Приказ отдадут тебя расстрелять – и в расход как миленький пойдешь.

Беяки Тобольск займут – и царь первый тебя уконокать велит.

Первый! Потому что ты над ним был, ты порушил порядок.

«Это не я! Не я! Это так сложилось! Так приключилось! Не мы так все придумали! Сладилось так!»

Мария утерла рот кружевным носовым платком, обеими руками, тонкими и сильными пальцами приподняла тарелку над столом и опять поставила на скатерть. Михаил слышал свое сопение. Так он шумно дышал, и нос заложило. Ему захотелось, чтобы она отломила своими быстрыми пальчиками кусок ситного и дала ему. Скормила, словно бы коню.

Он уже и морду вперед, глупо, сунул.

А яма под ногами все чернела, и он боялся шагнуть и свалиться в нее.

Зажмурился, головой помотал.

«Вконец я ополоумел! Дров пойти поколоть...»

На дворе солдаты пели громко, заливисто:

*– Там вдали, в горах Карпатских,
меж высоких узких скал
пробирался ночью темной
санитарный наш отряд!*

Впереди была повозка,

*на повозке – красный крест.
Из повозки слышны стоны:
«Боже, скоро ли конец?»*

Мария первой из-за стола встала. Вот сейчас обернула к нему лицо.

Нет, эта не обманет! Не будет обманывать! Никогда!

Лучше даст себя обмануть.

«А если я ей прикажу – под меня... ляжет?»

Яма под ногами исчезла. Вместо нее желто, тускло заблестели доски вымытого поутру пола. Баба Матвеева приходила, намыла; солдатка, щуплая, худая, рот большой, галчинный. С ней охрана и не баловала: такая щедедушная была, кошке на одну ночь и той маловато будет, скелетиком похрустеть.

*– «Погодите, потерпите», —
отвечала им сестра,
а сама едва живая,
вся измучена, больна.*

*«Скоро мы на пункт приедем,
накормлю вас, напою,
перевязку всем поправлю
и всем письма напишу!»*

Песня доносилась будто издалека, из снежных полей. Солнце головкой круглого сыра каталось в снятом молоке облаков, в набегающих с севера сизых голубиных тучах. Цесаревич тоже поглядел на Михаила.

«Черт, глаза как у иконы. Хоть Спасителя с мальчика малюй! Да богомазов тех постреляли, повзрывали. Яма... яма...»

В глазах Марии он видел жалость, и он перепутал ее с нежностью. В глазах Алексея горело презрение. Две ямы. Две темных ямы.

А Пашка? Кто она, где?

...его яма. И падает в нее.

Лямин развернулся, как на плацу, и, топя сапогами, выкатился из залы. Вон от пустых тарелок, от крошек ситного на скатерти. Пусть баба Матвеева скатерть в охапку соберет да крошки голубям на снег вытрясет.

* * *

... Она ведь никакая не старуха. А все тут ее и видят, и зовут старухой; и в глаза и за глаза; и она, скорбно и дико взглядывая на себя в зеркало, тоже уже считает себя старухой – ах, какое слово, ста-ру-ха, как это по-русски звучит глухо, вполслуха... вполуха...

Будто мягкими лапами кошка идет по ковру.

Нет, это она сама в мягких носках, в мягких тапочках сидит и качается в кресле-качалке.

И все повторяет: старуха, старуха, ста... ру...

Муж подошел к ней, положил ей руку на плечо, и кресло-качалка прекратило колыхаться.

Как всегда, его голос сначала ожег, потом обласкал ее.

– Аликс, милая. Вот ты скажи мне.

Она подняла к нему лицо, и оно сразу помолодело, прояснилось. Зажглось изнутри.

– Что, мой родной?

Царь выпустил ее плечо, отошел от кресла, продел пальцы в пальцы, сжал ладони и хрустнул запястьями.

– Я вот все думаю. Думаю и думаю, голову ломаю. Мы ведь с тобой веруем в Бога. Так? Верую во Единого Бога Отца, Вседержителя...

Оба прочитали, крестясь, Символ веры – шепотом, быстро, отчетливо.

Слышали каждое священное слово друг друга.

– Чаю воскресения мертвых...

– И жизни будущего века. Аминь.

Опять перекрестились. Перекрестили друг друга глазами.

– И что? Что? – Она не могла скрыть нетерпение, любопытство. – Что ты мне хотел сказать.

Царь пододвинул табурет ближе к креслу-качалке, сел на табурет верхом, как на лошадь. Хотел улыбнуться, и не смог.

Вздыхнул и заговорил, заговорил быстро, сбиваясь, часто дыша, болезненно морщась, стремясь скорее, быстрее, а то будто опоздает куда-то, высказать, что мучило, жгло, давило.

– Вот Серафим Саровский. Батюшка наш Серафим. Преподобный... чудотворец. Отшельник. И пророк. Ты пророчество его помнишь, да, знаю, вижу, помнишь. И я все, все помню. Не в этом дело. И ту бумагу, что нам из шкатулки давали читать, ты же тоже помнишь. И я помню. Я не то хочу сказать. Я... знаешь.. долго думал, долго. Наконец вот тебе сказать решился. Мы веруем. И вся наша Россия, вместе с нами, веровала. В храмах – во всей нашей земле – молилась. Лбы все крестили. Посты соблюдали. Божий страх имели. Божий – страх! Это же самое главное. Нет Божьего страха – нет и человека. Нет человека – нет и... да, да... государства. Земли нашей нет без Божьего страха! Не может, не сможет она... выжить...

Царица слушала, боясь хоть слово упустить.

– И вот, милая, мы с тобой – веруем. Свято веруем! Молимся... каждодневно... и утром, и на ночь... и на службу нам разрешают ходить... иконы целуем... Вслух ты – детям – из Писания читаешь! Все, все делаем... как все русские люди всегда... Бог при нас... и что же?

– И что же? – неслышным шепотом повторила за мужем царица, надеясь, ужасаясь.

– Серафимушка... он предсказал будущее, да... и ты помнишь, ты же помнишь все, ну, что было в этом предсказании. Помнишь ведь?.. да?.. Он предсказал нам... смерть...

– Смерть, – шепотом повторила царица.

– Да, смерть! Но я... представь себе, я в это не поверил... не захотел поверить... Я... может, я святотатец!.. но я... не захотел поверить в нашу с тобой смерть, в смерть детей... Я верую в Бога, да... и ты веруешь... и дети наши веруют, да, да, мы так их воспитали, мы так их держали всегда, всегда, в страхе Божиим... И я... вот сейчас, во все последние дни, и сию минуту, спрашиваю себя: и тебя, сейчас и тебя... спрашиваю: где же теперь Бог над Россией?

Царица хотела повторить: «Где же теперь Бог над Россией?» – и не смогла: губы не смогли вымолвить это. Царь смог, а она – нет. И опустила голову, голова внезапно стала тяжелой, чугунный пучок волос давил книзу, из него выпадали чугунные шпильки, чугунные волосы развивались и плыли по чугунной шее, по старым плечам, нет, ее плечи еще не старые, они еще красивые, она еще может носить декольте!.. старуха... ста... ру...

Он взял ее руки в свои, крепко сжал, и она чуть не вскрикнула.

– Где же? – повторил царь, весь сморщившись, покривив лоб, губы, и зажмурился, будто не мог перенести прямого, отчаянного взгляда жены.

– Я не старуха! – шепотом крикнула она ему прямо в лицо.

Ее зрачки медленно становились широкими и наполняли черной стоячей водой всю серую светлую радужку.

Он испугался, побледнел.

– Что ты, милая?.. что, хорошая моя?.. Да нет, ну какая же ты старуха... вспомни, сколько тебе лет... и я тебя... я тебя...

Он беззвучно шептал: люблю, – а она уже судорогой выгибалась в его руках, и он уже крепко обнимал ее, и, сильный, еще крепкий, хоть и исхудал на скудных харчах, брал на руки, грубовато, по-солдатски, как тащит солдат военную добычу, и вынимал из качалки, и нес на кровать. И целовал лицо, мокрое, уже страшное.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.